

84(3)
A68

Эдмундо
De
Анчис

СЕРДЦЕ

Эдмундо Де Амичис

СЕРДЦЕ



ББК 84.4 Ит

А 62

Амичис Э. де. Сердце. (Записки школьника).

А62 Пер. с итал. В. Давиденковой.— М.: Камея, 1993.— 272 с.
с илл.

Написанная с большой любовью к детям книга «Сердце» итальянского писателя Эдмондо де Амичиса (1846—1908) относится к выдающимся произведениям детской мировой литературы. На живых примерах поведения детей и взрослых автор без наставлений учит честности, состраданию, любви к родине. Простой язык книги делает легко доступными мысли и суждения автора, стремившегося отдать детям свое большое и любящее сердце.

Книга «Сердце» переведена на 25 языков и с удовольствием читается и детьми, и взрослыми.

А 4703000000—14
Д—83(03)—93 без объявл.

ISBN 5—88146—014—6

© Оформление «Камея», 1993.

Эта книга посвящается школьникам в возрасте от девяти до тринадцати лет и могла бы называться «История одного учебного года, написанная учеником третьего класса городской итальянской школы».

Когда я говорю, что эта книга написана учеником третьего класса, это не значит, что он написал ее в таком точно виде, в каком она здесь напечатана. Он просто записывал в тетрадь, как умел, одно за другим, все, что видел, чувствовал и думал в школе и дома. В конце года его отец собрал эти заметки и составил из них книгу, стараясь не исказить мысли ребенка и излагать их, по мере возможности, его же словами. Через четыре года мальчик, тогда уже ученик гимназии, прочитал написанное и прибавил еще кое-что от себя, так как хорошо помнил и лица и события.

Теперь, дети, читайте эту книгу!

Надеюсь, что вы найдете ее интересной и извлечете из нее кое-что для себя полезное.



Эдмондо де Амичис

Октябрь

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ

Понедельник, 17 октября

Сегодня — начало занятий. Как сон пролетели три месяца, которые мы провели в деревне! Утром мама повела меня в школу Баретти¹, чтобы записать в третий класс, но я всё еще думал о деревне и шел неохотно.

Улицы были полны детей. В книжных магазинах толпились отцы и матери, которые покупали ранцы, сумки и тетради; а перед школой было столько народа, что сторож и полицейский с трудом расчищали дорогу к подъезду.

У самой двери я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо,— оказалось, что это мой учитель второго класса. Он, как всегда, выглядел очень веселым, и его рыжие волосы торчали во все стороны.

— Ну что же, Энрико,— сказал он,— вот мы с тобой и расстались?

Я хорошо знал, что мы должны были с ним расстаться, но от этих слов мне сделалось грустно. Мы с мамой с трудом протиснулись в школу.

¹ В Италии городским школам обычно присваивают имя какого-нибудь крупного писателя или общественного деятеля (например, школа имени Торквата Тассо; школа имени Баретти и т. д.). Иногда школы называются по имени прихода, в котором они находятся (например, школа Мадонны-Утешительницы).

Синьоры, дамы, бедно одетые женщины, рабочие, офицеры, бабушки, служанки толпились в вестибюле. Каждый вел за руку мальчика, а в другой руке держал свидетельство о приеме.

Шум стоял такой, как при входе в театр.

Я с радостью снова увидел большой зал первого этажа, двери из которого вели в семь младших классов. Ведь целых два года я каждый день проходил через эту залу. Здесь тоже была толпа и всё время входили и выходили учителя.

Учительница, у которой я учился в первом классе, стоя у своей двери, ласково кивнула мне и сказала:

— Ну, Энрико, в этом году ты переходишь во второй этаж, и я не увижу тебя больше в нашей зале.— При этом она смотрела на меня печально.

Директор стоял, окруженный расстроеннымми женщинами, дети которых не попали в школу, так как не было больше мест. Мне показалось, что борода у него стала еще немножко белей, чем в прошлом году.

Мальчики тоже показались мне изменившимися: они выросли и пополнели.

В первом этаже уже распределили всех детей. Некоторые малыши, только что поступившие в школу, не хотели идти в классы и упирались, как маленькие ослики, так что их приходилось тащить силой. Другие высакивали из-за парт и бежали прочь. А были такие, которые, видя, что их родители уходят, начинали плакать, и тогда папы и мамы возвращались, чтобы утешать и угощать их, а учительницы от всего этого приходили просто в отчаянье.

Мой маленький брат попал к учительнице Делькати, а я во второй этаж, в класс учителя Пербони.

В десять часов мы все, пятьдесят четыре мальчика, уже сидели на своих местах. Только пятнадцать или шестнадцать из моих товарищей перешли вместе со мной из второго класса, и среди них Деросси, наш первый ученик.

Школа показалась мне тесной и печальной, по сравнению с теми горами и лесами, где я провел лето.

Я вспомнил также своего учителя второго класса, такого доброго, с растрепанными рыжими волосами. Он всегда смеялся



вместе с нами и был такого маленького роста, что его можно было принять за нашего товарища. И мне стало грустно, что я не увижу его больше.

Наш новый учитель — высокий безбородый старик с длинными полуседыми волосами и прямой морщиной на лбу. Голос у него строгий, и он так пристально посмотрел на каждого из нас, как будто хотел прочесть самые наши мысли. Он никогда не смеется.

Я подумал: сегодня первый день занятий. Впереди еще девять месяцев обучения. Сколько работы, сколько ежемесячных испытаний¹, сколько труда! Мне так хотелось, чтобы скорее кончились уроки и за мной пришла мама. Когда я, наконец, увидел ее, то бросился к ней и поцеловал ее руку.

— Ничего, Энрико,— сказала она,— держись молодцом! Мы вместе с тобой будем готовить уроки.— И я вернулся домой успокоенный. Но мне не хватает моего прежнего учителя с его доброй и веселой улыбкой, и поэтому школа не кажется мне такой милой, как прежде.

¹ Раньше в Италии в конце каждого месяца проводились экзамены и лучшим ученикам выдавались награды.

НАШ УЧИТЕЛЬ

Вторник, 18 октября

Я пробыл сегодня всё утро в школе, и мой новый учитель очень мне понравился.

Пока школьники еще собирались, а он уже сидел на своем учительском месте, в дверях нашего класса то и дело показывались его прошлогодние ученики, чтобы поздороваться с ним. Они заглядывали к нам, проходя мимо, и говорили:

— Здравствуйте, синьор учитель, здравствуйте, синьор Пербони.

Некоторые входили, пожимали ему руку и бежали дальше. Видно было, что они все очень любят его и охотно продолжали бы заниматься под его руководством. Он, не глядя, отвечал им «здравствуйте», пожимал их протянутые руки и в ответ на все их приветствия оставался серьезным, с той же прямой морщиной на лбу. Он отвернулся к окну и не сводил глаз с крыши противоположного дома; казалось, что он не радовался всему этому вниманию, а страдал от него.

Потом он обернулся к нам и долго смотрел на каждого из нас.

Диктуя, он ходил между партами, а увидев мальчика с красивыми пятнами на лице, перестал диктовать, взял его голову обеими руками и пристально поглядел на него. Потом спросил, что с ним такое, и приложил ему руку ко лбу, чтобы узнать, нет ли у него жара.

В эту минуту один из учеников за его спиной встал на скамейку и скрочил гримасу.

Тут учитель обернулся. Шалун сейчас же сел и с низко опущенной головой стал ожидать наказания. Но учитель только положил руку ему на голову и сказал: «Не делай так больше,— и всё. Потом он вернулся к своему столику и продолжал диктовку. Окончив, он несколько мгновений смотрел на нас молча, а потом произнес медленно-медленно своим строгим, но добрым голосом:

— Слушайте. Целый год мы должны будем провести с вами вместе. Постараемся провести его дружно. Учитесь и ведите

себя хорошо. Я одинок. Будьте моей семьей. В прошлом году у меня была еще мать, но она умерла, и я остался один. Во всем мире у меня только вы, мне некого больше любить и не о ком больше заботиться. Будьте моими сыновьями. Я вас люблю, любите и вы меня. Я не хочу никого наказывать. Докажите, что вы хорошие мальчики. Пусть школа будет для нас семьей, а вы — моим утешением и моей гордостью. Я не требую от вас никаких обещаний, я уверен, что в глубине сердца вы все уже ответили мне «да». И я благодарю вас за это.



Тут вошел сторож и объявил, что занятия окончены¹. Мы тихо, тихо вышли из-за своих парт. Тот ученик, который вставал на скамейку, подошел к учителю и сказал ему дрожащим голосом:

— Синьор учитель, простите меня.

Учитель поцеловал его в лоб и ответил:

— Иди спокойно домой, мой мальчик.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Пятница, 21 октября

Учебный год начался плохо. Сегодня утром я шел в школу вместе с отцом и рассказывал ему, что говорил нам вчера учитель. Вдруг мы увидели, что улица полна людей, а у дверей школы — толпа.

— Наверное, случилось несчастье,— сказал мой отец,— год начинается плохо.

Нам с трудом удалось войти. В большой зале толпились ро-

¹ В конце XIX века об окончании занятий в итальянских школах объявлял сторож.

дители и ученики. Учителя напрасно старались развести мальчиков по классам,— все смотрели на дверь директорского кабинета, и слышались слова:

— Бедный мальчик! Бедный Робетти!

Я взглянул поверх людских голов в глубь кабинета. Там, в толпе, я различил каску полицейского и лысую голову нашего директора. Потом туда вошел господин в цилиндре, и все зашептали:

— Это доктор, доктор.

— Что случилось?— спросил мой отец у одного из учителей.

— Ему переехало колесом ногу,— ответил тот.

— У него сломана нога,— объяснил другой.

Оказалось, что несчастье случилось с мальчиком из второго класса. Он шел в школу по улице Дора Гросса и увидел, как малыш из первого класса вырвался от матери, побежал и упал на самой середине улицы, в нескольких шагах от ехавшего прямо на него омнибуса¹. Старший мальчик быстро бросился к упавшему и оттащил его в сторону, но сам не успел отскочить вовремя, и колесо омнибуса переехало ему ногу. Его зовут Джулио Робетти, он сын артиллерийского капитана.

Пока мы слушали этот рассказ, в залу, расталкивая людей, ворвалась женщина, мать Робетти, которую вызвали в школу.

Другая женщина выбежала из кабинета директора и рыдая бросилась ей на шею. Это была мать спасенного мальчика. Обе побежали в кабинет, и мы услышали крик:

— О мой Джулио, мой мальчик!

Скоро к подъезду подкатила карета, и через минуту в дверях показался директор с Робетти на руках. Голова мальчика лежала на плече директора, лицо было совсем белым, а глаза закрыты. Все замолчали, и слышны были только рыдания матери. Директор, тоже очень бледный, остановился и обеими руками приподнял ребенка так, чтобы все могли увидеть его. Тогда учителя, учительницы, родители, ученики, все вместе закричали:

— Молодец, Робетти! Молодец, Робетти!

¹ О мнибус — большая карета, запряженная лошадьми, которая курсировала в городах и между городами.

Мальчик открыл глаза и сказал:

— Где мой ранец?

Мать спасенного мальчика показала Робетти его ранец:

— Вот он, твой ранец, не беспокойся, я понесу его.

В то же самое время она поддерживала мать Робетти, которая закрывала лицо руками. Они вышли, уложили раненого в карету и уехали. Тогда мы все молча вернулись в школу.

МАЛЬЧИК ИЗ КАЛАБРИИ

Суббота, 22 октября

Вчера, после обеденного перерыва¹, в то время, как учитель говорил нам, что бедняжке Робетти придется ходить некоторое время на костылях, вошел директор, ведя за руку новенького мальчика, смуглого, черноволосого, с большими черными глазами и густыми сросшимися бровями. Он был одет в темный костюм с черным кожаным поясом. Директор сказал что-то на ухо нашему учителю и вышел, а новичок остался и недоверчиво смотрел на нас своими огромными глазами. Учитель взял его за руку и обратился к классу:

— Вы можете порадоваться, мальчики. Сегодня в нашу школу поступил маленький итальянец из Калабрии²; это больше, чем за пятьсот миль отсюда. Калабрия — одна из самых красивых провинций нашей родины, там большие леса и высокие горы, там живут умные и отважные люди. Полюбите вашего брата, приехавшего издалека. Он родился в славной стране, ко-

¹ В итальянских школах днем делается двухчасовой перерыв на обед, затем занятия возобновляются.

² До объединения Италии (1870 г.) отдельные ее области были самостоятельными государствами. В Северной Италии находились: Сардинское королевство (в него входили Пьемонт и остров Сардиния, главный город Сардинского королевства — Турин), Ломбардия и Венецианская область. В Центральной Италии были расположены крупные государства: Тоскана и Романья. Южную Италию и остров Сицилию занимало Неаполитанское королевство, в составе которого была и Калабрия.

Борьба за воссоединение итальянских областей в единое национальное государство велась с 1830 по 1870 год и получила название Рисорджименто.

торая дала Италии много знаменитых людей, много хороших работников и храбрых солдат. Плюбите своего нового товарища, чтобы он не скучал вдали от родного города. Пусть он знает, что в какую бы школу Италии ни попал итальянский мальчик, он всюду найдет братьев.

Учитель встал и показал на большой карте Италии Калабрию. Потом вызвал Эрнесто Деросси, нашего первого ученика. Деросси встал.

— Поди сюда,— сказал учитель.

Деросси вышел из-за парты и стал у доски, рядом с маленьким калабрийцем.

— Как первый ученик класса,— продолжал наш учитель,— поздоровайся от имени всех со своим новым товарищем; пусть дети Пьемонта радушно встретят сына Калабрии.

Деросси поцеловал маленького калабрийца и сказал ему своим звонким голосом:

— Здравствуй!

Мальчик тоже с жаром поцеловал Деросси в обе щеки. Все захлопали в ладоши.

— Тише,— сказал учитель,— в школе нельзя хлопать в ладоши,— но мы видели, что это ему понравилось. Новичок, по-видимому, тоже был доволен. Учитель указал ему место и усадил за парту. Потом прибавил:

— Не забывайте того, что я вам сказал. Чтобы мальчик из Калабрии чувствовал тебя в Турине как дома и чтобы мальчик из Туринской чувствовал себя в Калабрии как в собственном доме, нашей стране пришлось сражаться в течение пятидесяти лет, и тридцать тысяч итальянцев отдали за это свою жизнь. Вы все должны уважать и любить друг друга. Но тот из вас, кто посмеет обидеть своего нового товарища за то, что он родился не в нашей провинции, тот недостоин смотреть на трехцветное знамя Италии¹.

Новенький сел на свое место, и его соседи сейчас же подарили ему перьев и картинку, а один мальчик с последней скамейки прислал ему шведскую марку.

¹ Трехцветное знамя Италии (государственный флаг) состоит из зелёного, белого и красного цветов.

МОИ ТОВАРИЩИ

Вторник, 25 октября

Тот ученик, который послал калабрийскому мальчику марку, нравится мне больше всех. Его зовут Гарроне. Он самый старший в классе — ему уже почти четырнадцать лет. У него большая голова и широкие плечи. Он очень добрый, что видно по его улыбке. Но мне всегда кажется, что мысли у него — как у взрослого. Теперь я уже знаю почти всех своих товарищей. Мне еще очень нравится веселый мальчик по имени Коретти,— в фуфайке шоколадного цвета и берете из кошачьего меха. Отец его топтует дровами. Во время войны 1866 года он был солдатом в войсках принца Умберто¹ и, говорят, получил три медали за храбрость.

У нас учится еще бедный мальчик горбун Нелли, слабенький, с худым и бледным лицом.

Другой мальчик, Вотини, всегда очень хорошо одет и тщательно сдувает со своих костюмов каждую пылинку.

На парте передо мной сидит мальчик, которого прозвали «Кирпичонок», потому что его отец работает каменщиком. У Кирпичонка круглое, как яблоко, лицо и приплюснутый нос. Он умеет строить замечательную «заячью мордочку». Все просят его сстроить эту гримасу и смеются. У него маленькая, сшитая из лоскутков шапочка, которую он складывает и прячет в карман, как носовой платок. Рядом с Кирпичонком сидит Гаррофи, длинный и тощий парень, с носом, похожим на совиний клюв, и крохотными глазками: он всё время занимается продажей разных перышек, картинок и спичечных коробков. Домашние задания у него всегда записаны на ногтях, и он потихоньку читает их во время ответа.

Еще у нас учится сын одного синьора, Карло Нобис, страшно гордый мальчик. Он сидит на парте между двумя учениками, которые мне тоже очень нравятся.

¹ Война 1866 года велась между Австрией и Пруссией, на стороне которой выступила Италия. Принц Умберто, наследный принц Савойского дома, впоследствии король Италии, принимал участие в войнах против Австрии в 1859 и в 1866 годах.

Один из них — сын кузнеца, бледный и болезненный мальчик, одетый в куртку, которая доходит ему до самых колен. У него всегда испуганный вид, и он никогда не смеется. С другой стороны сидит рыжий мальчик. Одна рука у него больная, парализованная, и он носит ее на перевязи. Его отец уехал в Америку, а мать — зеленщица; она ходит по улицам и продает зелень и овощи. Старди, мой сосед слева, очень забавный мальчик, низенький и толстый, совсем без шеи. Это маленький ворчун, который никогда ни с кем не разговаривает. Мне кажется, что он плохо понимает объяснения учителя, но всегда смотрит на него внимательно, не мигая, нахмурив лоб и скав зубы. И если в это время ты что-нибудь у него спросишь, то в первый и во второй раз он ничего не ответит, а в третий раз лягнет тебя ногой. Рядом с ним сидит худой и унылый мальчик, по имени Франти; его уже выгнали из одной школы. На следующей парте два брата, всегда одинаково одетые. Они похожи как две капли воды, и у обоих одинаковые калабрийские шляпы с фазаным пером.

Но самый красивый и самый умный мальчик в нашем классе — Деросси. Он, конечно, и в этом году будет у нас первым учеником. Учитель уже понял это и часто его спрашивает. Но мне больше нравится Прекосси, сын кузнеца, болезненный мальчик в длинной курточке. Говорят, что отец его бьет. Прекосси очень застенчив и каждый раз, когда обращается к кому-нибудь, говорит: «Прости, пожалуйста» и печально смотрит своими добрыми глазами. Но Гарроне всё-таки лучше их всех.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Среда, 26 октября

Гарроне доказал это сегодня утром.

Я вошел в класс позже других, потому что по дороге меня задержала учительница первого класса. Она хотела прийти к нам в гости и спросила, в котором часу мы будем дома. Когда я вошел в класс, учителя еще не было и трое или четверо мальчиков мучили бедного Кросси, того самого рыжего Кросси с большой рукой, матери которого продаёт зелень и овощи.

Мальчики размахивали вокруг него линейками, бросали ему в лицо скорлупу от каштанов, дразнили его калекой и уродом и делали вид, что у них рука тоже висит на перевязи. А он, бледный и одинокий, забился за свою парту, переводил глаза с одного на другого и как будто взглядом просил, чтобы его оставили в покое.

Но его мучители смеялись над ним всё громче и громче, и я видел, как он начал дрожать и весь покраснел от обиды. А тут еще этот негодяй Франти вскочил на скамейку и сделал вид, что несет две корзины, передразнивая мать Кросси. Раньше она приходила в школу встречать своего сына, теперь она лежала больная. Почти весь класс захохотал. Тогда Кросси, не помня себя, схватил чернильницу и изо всей силы бросил ее в голову своего врага. Но Франти увернулся, и чернильница попала прямо в грудь входящего учителя. Всё в страхе разбежались по местам, и настутила полная тишина. Учитель, бледный, подошел к доске и спросил изменившимся голосом:

— Кто это сделал?

Все молчали. Учитель, повысив голос, спросил еще раз:

— Кто это сделал?

Тут Гарроне, которому стало жалко бедного Кросси, встал и решительно заявил:

— Это я.

Учитель посмотрел на него, посмотрел на притихший класс и спокойно сказал:

— Нет, это не ты.

Потом он подумал и добавил:

— Виновный не будет наказан. Пусть он встанет.

Кросси встал, заплакал и пробормотал:

— Они меня били и оскорбляли, я не выдержал и бросил...

— Садись, — приказал учитель. — Пусть встанут те, которые его дразнили.

Четыре мальчика поднялись со своих мест и низко опустили головы.

— Вы, — сказал им учитель, — обидели товарища, который ничего вам не сделал, смеялись над калекой, вчетвером напали на слабого, который не может защищаться. Вы совершили один

из самых низких, самых позорных поступков, на какой только способен человек. Вы жалкие трусы! — Затем он прошел между партами и приблизился к Гарроне. Тот стоял неподвижно и смотрел в землю. Учитель взял его за подбородок, заставил поднять голову, взглянул ему прямо в глаза и произнес:

— У тебя благородное сердце.

Потом, повернувшись к четырем виноватым, он отрывисто сказал:

— Я вас прощаю.

МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Четверг, 27 октября

Учительница, у которой я учился в первом классе, сдержала свое обещание и пришла сегодня к нам, как раз в тот момент, когда мы собирались выйти, чтобы отнести немного белья одной бедной женщины, о которой писали в нашей газете. Мы очень обрадовались приходу моей учительницы, так как она не была у нас почти целый год.

Она всё такая же, невысокого роста, в той же шляпе с зеленою вуалью и в таких же, не слишком хорошо вычищенных ботинках, так как у нее нет времени наводить на них блеск. Но она бледнее, чем в прошлом году, у нее больше седых волос, и она всё время кашляет.

— Как ваше здоровье, дорогая? — спросила ее мама. — Бойтесь, что вы недостаточно бережете себя!

— Это неважно, — ответила моя учительница с веселой и в то же время грустной улыбкой.

— Ведь вам нельзя так много говорить, — продолжала мама, — и вы слишком уж беспокоитесь о своих малышах.

Это правда, в школе всё время слышен голос этой учительницы. Я помню, что когда я был в ее классе, она всё время говорила; она делала это для того, чтобы мальчики не отвлекались, и не умолкала ни на одну минуту. Я был уверен, что она придет к нам, потому что она никогда не забывает своих бывших учеников. В течение многих лет она помнит их имена и в

дни ежемесячных испытаний спрашивает у директора, какие они получили отметки. Она ждет своих бывших питомцев у выхода и просматривает их сочинения, чтобы порадоваться их успехам. И многие уже поступившие в гимназию мальчики, в длинных брюках и с часами в кармане, приходят в школу, чтобы навестить свою первую учительницу.

Сегодня она выглядела очень усталой, так как водила своих малышей в картинную галерею. В этом году, как и прежде, она ходит с ними каждый четверг¹ в какой-нибудь музей, где всё подробно объясняет им. Бедная моя учительница, мне кажется, что за этот год она стала еще более худенькой. Но она всегда оживлена, и когда говорит о своем классе, то щёки ее загораются румянцем.

Ей захотелось еще раз посмотреть на ту кроватку, в которой я лежал больной два года тому назад и где теперь спит мой младший брат, и она несколько минут простояла около нее молча.

Она недолго была у нас, так как ей нужно было еще навестить одного больного корью ученика, кроме того, она должна была проверить к завтрашнему дню большую пачку тетрадей, а ведь это целый вечер работы, и дать еще урок арифметики одной лавочнице, и всё это за один вечер.

— Ну, Энрико,— спросила она меня, прощаясь,— теперь, когда ты решаешь трудные задачи и пишешь длинные сочинения, любишь ли ты еще свою первую учительницу?

Сойдя с лестницы, она поцеловала меня и прибавила:

— Никогда не забывай меня, Энрико!

Нет, я никогда не забуду тебя, моя дорогая первая учительница. Даже когда стану совсем большим, я буду помнить тебя. И каждый раз, как мне придется проходить мимо какой-нибудь школы и слышать голос учительницы, мне будет казаться, что я слышу твой голос, и я вспомню тот год, который провел у тебя в классе, где узнал столько нового, где столько раз видел тебя больной и усталой, но всегда заботливой и приветливой.

¹ По четвергам занятия в итальянских школах продолжаются только полдня.

Как ты огорчалась, когда кто-нибудь не мог научиться правильно держать перо, как волновалась, когда нас опрашивали инспекторы, и как была счастлива, если мы оказывались молодцами! Ты всегда была с нами ласкова и любила нас, как настоящая мать. Нет, я никогда не забуду тебя, моя первая учительница!

НА ЧЕРДАКЕ

Пятница, 28 октября

Вчера вечером мы с мамой и с моей сестрой Сильвией пошли к той бедной женщине, о которой писали в газете.

Я нес пакет с бельем для нее, а Сильвия — газету, в которой был адрес и инициалы бедной женщины. Мы поднялись под самую крышу старого дома и оказались в длинном коридоре со множеством дверей. Мама постучала в последнюю дверь, и нам открыла худенькая, еще молодая женщина со светлыми волосами. Мне показалось, что я уже видел ее раньше, и даже в той же самой синей косынке.

— Это о вас писали в газете? — спросила мама.

— Да, синьора, обо мне.

— Ну так вот, мы принесли вам немного белья.

Женщина стала благодарить нас, и все благодарила и благодарила; а я тем временем заметил в углу совершенно пустой и темной комнаты мальчика, который стоял на коленях перед столом, спинкой к нам и как будто что-то писал. Да, он действительно писал: бумага лежала перед ним на стуле, а чернильница стояла около него на полу. Как мог он писать в такой темноте?

Пока я раздумывал над этим, вдруг я узнал рыжие волосы и бумазейную куртку Кросси, мальчика с большой рукой, сына зеленщицы. Я тихонько сказал об этом маме, в то время как женщина убирала принесенные нами вещи.

— Тише! — ответила мне мама. — Он, может быть, стыдится, что ты, его товарищ, принес милостыню его матери. Не окликай его.

Но в эту минуту Кросси повернул голову и, видя, что я стою

со смущенным видом, улыбнулся. Тогда мама подтолкнула меня, чтобы я подошел к нему, а он поднялся и пожал мне руку.

— Да, я совсем одна с этим мальчиком,— говорила тем временем его мать моей маме.— Муж мой уже шесть лет как в Америке, и мы о нем ничего не знаем, а я, к тому же, еще заболела и не в силах больше разносить овощи, чтобы заработать свои несколько сольдо¹. У меня не осталось даже стола, на котором мой бедный Луиджино мог бы готовить уроки. Пока у нас была еще скамейка, он мог писать на ней, но и скамейку у нас отобрали. Я не в состоянии даже купить свечи, чтобы он, занимаясь, не портил глаза. И хорошо еще, что он может ходить в школу, потому что городской совет выдает ему книги и тетради. Бедный мой Луиджино, ему так нравится учиться. Ах, несчастная я женщина!

Мама дала ей все, что у нее было в кошельке, поцеловала мальчика, и когда мы вышли, сказала мне:

— Видишь, как этот бедный мальчик старается, а ты, обеспеченный всеми удобствами, ты тяготишься тем, что тебе нужно учиться. Ах, Энрико, один день работы этого ребенка стоит больше, чем целый год твоего труда. Вот кто по-настоящему заслуживает первую награду.

ШКОЛА

Пятница, 28 октября

Да, милый Энрико, ты тяготишься учением, как уже сказала тебе мама. Ты не бежишь в школу с той охотой и с тем веселым лицом, которые мне так хотелось бы у тебя видеть! Ты все еще как будто ленишься... Но подумай о том, какими жалкими и ненужными были бы твои дни, если бы ты не ходил в школу! Через неделю ты истомился бы от скуки и стыда и начал бы умолять, чтобы тебе позволили снова вернуться в школу. Тебе опротивели бы все твои забавы и игрушки и даже твое собственное существование.

¹ Сольдо — медная монета, равная $\frac{1}{20}$ лиры или примерно русским пяти копейкам. Лира — денежная единица Италии, соответствовавшая в то время приблизительно русскому рублю.

Все, все учатся в наши дни, Энрико...

Посмотри на рабочих, которые спешат в школу вечером, после целого дня работы, подумай о бедных женщинах и детях, которые идут в школу в воскресенье, проработав целую неделю. Подумай о солдатах, которые берутся за книги и тетради, устав после учения на военном плацу. Подумай о немых и слепых детях, которые всё же учатся. Подумай, наконец, о заключенных, которые тоже учатся читать и писать. Утром, когда ты выходишь из дома, подумай, что в ту же самую минуту, в твоем родном городе, тридцать тысяч мальчиков идут, так же как и ты, в школу и будут три часа сидеть в классе и учиться.

Но это еще не всё! Подумай о несчетном числе мальчиков, которые, примерно в тот же час, идут в школу во всех странах мира. Представь себе, как они идут и идут, по тихим проселочным дорогам, по шумным городским улицам, по берегам морей и озер, под палящим солнцем, в сырому тумане; они едут в лодках в странах, покрытых сетью каналов, верхом через широкие степи, на санях там, где земля покрыта снегом; они прошибаются по долинам и по горам, через леса и потоки, по пустынным и горным тропинкам, поодиночке, попарно, целыми группами, гуськом друг за другом, все с книгами под мышкой, одетые в самые разные костюмы, говорящие на тысяче языков, начиная от школ далекой России, затерянных среди льдов и снегов, и до школ отдаленной Аравии, осененных пальмами. Их миллионы и миллионы, и все они идут, чтобы самыми различными способами учиться одному и тому же. Представь себе этот огромный муравейник учеников сотен стран, это огромное движение, частью которого являешься и ты, и скажи себе: «Если бы это движение прекратилось, человечество вернулось бы к первобытным временам. В этом движении — прогресс, надежда, слава всего мира.

Иди же смело вперед, маленький солдат этого великого войска. Твои книги — это твое оружие, твой класс — это твой батальон, поле боя — весь мир, а победа — счастье всего человечества.

Не будь плохим солдатом, мой Энрико!

Твой отец.

МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ ИЗ ПАДУИ¹

(ежемесячный рассказ)

Суббота, 29 октября

Нет, я не буду плохим солдатом. Но я гораздо охотнее ходил бы в школу, если бы учитель каждый день рассказывал нам такие интересные вещи, как сегодня утром. Он обещал нам каждый месяц по одному рассказу. Это будут правдивые истории о героическом подвиге, совершённом маленьким мальчиком, и мы сами должны будем по очереди переписывать эти рассказы.

Сегодня мы услышали о «Маленьком патриоте из Падуи».

Всё это произошло на самом деле. Однажды из испанского города Барселоны отплыл в Геную² французский пароход, на борту которого находились французы, итальянцы, испанцы и швейцарцы. В толпе пассажиров можно было заметить мальчика лет одиннадцати, плохо одетого, одинокого, который держался в стороне, как дикий зверек, угрюмо посматривая на окружающих. Нет ничего удивительного в том, что он смотрел угрюмо. За два года до того отец и мать, крестьяне из окрестностей Падуи, продали его хозяину бродячего цирка. Этот хозяин, избивая и держа мальчика впроголодь, сначала научил его разным фокусам, а потом повез во Францию и Испанию, не переставая бить и никогда не кормя досыта. Когда они прибыли в Барселону, мальчик не в силах был больше терпеть побои и голод; доведенный до такого состояния, что на него жалко было смотреть, он убежал от своего мучителя и бросился искать защиты у итальянского консула. Растроганный его рассказом и видом, консул посадил ребенка на отходивший в Италию пароход с письмом к начальнику полиции. Тот должен был доставить его к родителям, к тем самым родителям, которые продали его, как скотину. Бедный мальчик был одет в лохмотья и страшно худ. Ему отвели койку в большой каюте второго класса. Пассажиры смотрели на него с любопытством, и неко-

¹ Падуя — город в Северной Италии, недалеко от Венеции.

² Генуя — крупнейший порт и промышленный центр Италии.

торые пытались его расспрашивать, но он не отвечал, и казалось, что он ненавидит и презирает всех — таким подавленным и печальным сделали его лишения и побои. Несмотря на это, трем путешественникам удалось заставить его разговориться: в нескольких отрывистых фразах, смешивая слова венецианского наречия с испанскими и французскими, он рассказал им свою историю. Хотя эти три путешественника не были итальянцами, но они поняли его и отчасти из жалости, отчасти оттого, что были в хорошем настроении от выпитого вина, дали ему несколько сольдо. Они шутили и подстрекали его, чтобы он рассказал им еще что-нибудь, а так как в эту минуту к ним подошли другие пассажиры, то они, чтобы показать свою щедрость, со звоном стали бросать на стол еще деньги, приговаривая: «Нá, вот тебе, возьми!» Мальчик брал и прятал в карман каждую монетку, вполголоса говоря «спасибо». Он оставался таким же сдержаным, и только глаза его озарились теплой улыбкой. Потом он влез на свою койку, задернул занавеску и умолк, раздумывая о том, что он будет делать с этими деньгами. Целых два года он не ел досыта хлеба, теперь он сможет получить на пароходе какое-нибудь сытное блюдо. Потом, когда он высядится в Генуе, он купит себе новую куртку, на смену этим лохмотьям; и, наконец, когда он принесет столько денег домой, отец и мать встретят его, может быть, не так сурово, как если бы он явился с пустым карманом. Для него полученные деньги были целым маленьким состоянием. Пока он думал обо всем этом, лежа на койке за занавеской и чувствуя себя немного утешенным в своей горькой судьбе, трое пассажиров продолжали беседовать, сидя вокруг обеденного стола посреди каюты второго класса. Они пили вино и говорили о своих путешествиях, о странах, которые они видели, и, от слова к слову, перешли к Италии.

Один начал жаловаться на ее гостиницы, другой — на железные дороги, а потом все вместе разгорячились и принялись бранить все остальное. Один предпочел бы путешествовать по Лапландии¹, другой заявил, что встречал в Италии одних мо-

¹ Лапландия — употреблявшееся до начала XX века название северной части Скандинавского и западной части Кольского полуострова.



шенников и разбойников, третий прибавил, что итальянские служащие неграмотны.

— Невежественный народ... — подтвердил первый.

— Грязный, — добавил второй.

— Во... — воскликнул третий. Он хотел сказать «воры», но не успел договорить: целый град сольдо и полулир обрушился на головы и плечи собеседников и, со звоном ударившись о стол, покатился по полу. Все трое в бешенстве вскочили, посмотрели наверх и получили еще одну пригоршню сольдо прямо в лицо.

— Возьмите обратно ваши деньги, — презрительно произнес мальчик, высунувшись из-за занавески, — я не беру милостыни от тех, кто оскорбляет мою родину.

Ноябрь

МАЛЕНЬКИЙ ТРУБОЧИСТ

Вторник, 1 ноября

Вчера вечером я пошел в школу для девочек, которая находится рядом с нашей, чтобы отнести учительнице моей сестры Сильвии рассказ о мальчике из Падуи, так как ей хотелось прочесть его. В этой школе шестьсот девочек. Когда я пришел, они только что начали выходить, радуясь тому, что завтра, в день всех святых, не надо учиться. И тут я увидел нечто замечательное. Как раз напротив школы, по другую сторону улицы, стоял, отвернувшись к стене и закрыв лицо рукавом, маленький трубочист. Щёки и лоб его были вымазаны сажей, в руке он держал свою сумку и метелку и, всхлипывая, горько плакал. Две или три девочки из второго класса подошли к нему и спросили:

— Отчего ты так плачешь?

Но он не отвечал и продолжал рыдать.

— Скажи, что с тобой, почему ты плачешь? — продолжали спрашивать девочки.

Тогда он открыл свое совсем еще детское лицико и, заикаясь, рассказал, что сегодня он чистил трубы в нескольких домах и заработал тридцать сольдо, а потом потерял их, они выпали через дырку в кармане — вот она, эта дырка, — и теперь он боится идти домой без денег.

— Хозяин меня прибьет, — закончил он и снова в отчаянье закрыл лицо руками.

Девочки стояли и смотрели на него, задумавшись. Тем временем к ним подошли другие девочки, большие и маленькие, просто одетые и синьорины, все с сумками в руках. Одна из старших, у которых на шляпе было голубое перо, вынула из кармана два сольдо и сказала:

— У меня только два сольдо, но давайте устроим сбор!

— У меня тоже два сольдо,—откликнулась другая девочка в красном платье,—если каждая из нас даст что-нибудь, то мы, конечно, соберем тридцать сольдо.

Тут со всеми сторон посыпалось:

— Амалия! Луиджина! Аннина! Одно сольдо! У кого есть сольдо? Вот еще сольдо!

У многих были с собой деньги на цветы или тетради, но они тоже пошли маленькому трубочисту. А некоторые, самые младшие, протягивали даже по несколько центезимо¹.

Девочка с голубым пером на шляпе получала монеты и промко считала:

— Восемь, десять, пятнадцать!

Но этого было мало. Тут подошла еще одна девочка, из самых старших, похожая скорее на молодую учительницу, и дала сразу пол-лиры. Это было встречено всеобщим восторгом. Однако всё еще не хватало пяти сольдо.

— Вот идут ученицы четвертого класса, у них, наверное, есть деньги,—сказала одна из девочек.

Четвероклассницы подошли, и сольдо посыпались со всех сторон.

Все столпились вокруг маленького трубочиста, и приятно было видеть, как он стоял, окруженный всеми этими разноцветными платьицами, перьями, ленточками, локонами. Тридцать сольдо уже давно были собраны, а девочки всё еще сыпали и сыпали деньги. Самые младшие, у которых не было денег, протягивались среди старших и подавали свои букетики, чтобы тоже участвовать в общем сборе.

Вдруг выбежала привратница с криком:

— Синьора начальница!

¹ Чентезимо — мелкая монета, равная $\frac{1}{100}$ лиры, т. е. одной копейке.

Девочки разлетелись во все стороны, как стайка воробышков, и маленький трубочист остался один посреди улицы. Он был счастлив. Он вытирал свои заплаканные глаза, руки его были полны денег, в штаницах курточки, в карманах, за лентой шляпы торчали букетики, и вся земля у его ног была усеяна цветами.

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

Среда, 2 ноября

Этот день посвящен памяти всех умерших. Знаешь ли ты, Энрико, о каких умерших должны вспоминать в этот день вы, дети?

О тех, которые умерли за вас, за школьников, за маленьких детей... Сколько их уже умерло и сколько всё время умирает. Думали ли вы когда-нибудь о тех отцах, которые убивают себя на работе, о тех материах, которые раньше времён сходят в могилу, так как подвергают себя непосильным лишениям, чтобы поддержать жизнь своих детей? Знаете ли вы, сколько матерей бросилось в воду, умерло от горя или сошло с ума, потеряв ребенка?

Вспомни о них сегодня, Энрико!

Подумай о тех учительницах, которые умерли молодыми от чахотки, изнуренные трудной работой в школе.

Подумай о том, сколько докторов погибло, заразившись от детей, которых они самоотверженно хотели вылечить. Подумай о всех, кто на тонущем корабле, в горящем доме, во время голода, в минуту наибольшей опасности, уступали детям последний кусок хлеба, последнюю спасительную доску, последнюю веревку во время пожара, и погибали, счастливые своей жертвой, потому, что сохранили жизнь юному существу. Нет числа таким умершим, Энрико. На каждом кладбище лежат сотни таких героев, и на каждой из их могильных плит можно было бы написать имя ребенка, в жертву которому принесены радости молодости, покой старости, личные привязанности, мысли, вся жизнь.

Двадцатилетние женщины, мужчины в полном расцвете своих сил, восьмидесятилетние старцы, юноши — неизвестные герои, — сколько их, отдавших свою жизнь детям!

И так велики и благородны их поступки, что не хватит цветов на земле, чтобы украсить их могилы. Такова наша любовь к вам, дети! Подумай же сегодня с благодарностью об этих мертвых, и всегда люби и уважай тех, кто желает тебе добра и трудится ради тебя. Ты счастлив, мой милый мальчик, что в день поминования усопших еще не должен никого оплакивать.

Твоя мать.

МОЙ ДРУГ ГАРРОНЕ

Пятница, 4 ноября

У нас было всего два дня каникул, но мне казалось, что я очень долго не видел Гарроне. Чем больше я узнаю его, тем всё больше он мне нравится,— так же, впрочем, как и всем другим мальчикам. Только самые отчаянные не любят Гарроне, оттого что при нем не смеют безобразничать.

Как только какой-нибудь большой парень набрасывается на малыша, тот кричит: «Гарроне!»— и обидчику приходится останавливаться.

Гарроне — сын железнодорожного машиниста. Он поздно начал ходить в школу, потому что проболел целых два года. Гарроне — самый высокий и самый сильный во всем классе,— ему ничего не стоит одной рукой поднять парту. Он постоянно что-то жует, и он очень добрый. Что у него ни попросишь — карандаш, резинку, листок бумаги, перочинный ножик,— он всё это сейчас же даст или даже подарит; на уроках он не разговаривает и не смеется, а смирно сидит за партой, хотя еле за ней помещается. Он сидит всегда сгорбившись и втянув голову в плечи. Когда я смотрю на него, он улыбается мне и щурится так, как будто хочет сказать: «Ведь мы с тобой друзья, Энрико, правда?».

Но вместе с тем вид у Гарроне очень смешной: сам он большой и толстый, а его куртка, штаны, рукава — всё для него слишком узкое и короткое. Волосы у него острижены под гребенку, шапка не держится на голове, башмаки на нем грубые, а галстук всегда скручен веревочкой.

Милый Гарроне, довольно один раз заглянуть ему в лицо, чтобы полюбить его; а самые маленькие мечтают сидеть с ним за одной партой. Гарроне очень хорошо знает арифметику. Книги его перевязаны кожаным ремешком. У него есть ножичек с перламутровой ручкой, который он нашел в прошлом году на военном плацу. Этим ножичком он один раз порезал себе палец до самой кости, но в школе никто так и не узнал об этом, а дома он тоже ничего не сказал, чтобы не беспокоить своих родителей. Он не сердится, когда над ним шутят, но если он что-либо утверждает, а ему скажут, что это неправда, тогда беда! Глаза его загораются, и он так стучит кулаком по парте, что она, того и гляди, расколется.

В субботу утром на улице плакала девочка из первого класса, потому что у нее отняли сольдо. Тогда Гарроне отдал ей свое сольдо, и ему потом не на что было купить себе тетрадку.

Вот уже три дня, как он сочиняет письмо ко дню рождения своей матери. Это письмо будет занимать восемь страниц, и на полях его Гарроне хочет сделать рисунки пером. Его мать часто заходит за ним; она очень милая, такая же высокая и полная, как и ее сын.

Учитель то и дело поглядывает на Гарроне и когда проходит мимо, то похлопывает его по затылку, как хорошего смиренного бычка.

Я очень люблю Гарроне. Мне приятно, когда он берёт меня за руку своей большой, как у взрослого, рукой. Я уверен, что он мог бы отдать свою жизнь за спасение товарища и что он дал бы себя убить, защищая друга, это так и видно по его глазам.

И хотя говорит он всегда громко и немного грубоватым тоном, но в голосе его звучат такие добрые нотки, что сразу чувствуется, какое у него хорошее сердце.

УГОЛЬЩИК И СИНЬОР

Понедельник, 7 ноября

Нет, Гарроне никогда не сказал бы того, что сказал вчера утром Карло Нобис. Карло страшно задирает нос, потому что его отец — важный синьор, высокий, с черной бородой и ужасно серьезный. Каждый день он сам приводит своего сына в школу. Вчера утром Карло повздорил с Бетти, сыном угольщика, одним из самых младших в классе и, не зная, как бы сильнее обидеть его, хотя сам был во всем виноват, грубо крикнул ему: «Твой отец — нищий!» Бетти покраснел так, что слёзы навернулись ему на глаза, но ничего не ответил, а вернувшись домой, всё рассказал своему отцу. Отец его, невысокий, весь черный от угольной пыли, после обеденного перерыва сам пришел в школу, ведя за руку своего сына, и пожаловался учителю. Пока он говорил, в классе стояла полная тишина. Отец Карло Нобиса, который, как всегда, помогал своему сыну снять пальто, стоя у двери в класс, услышал свое имя, вошел и потребовал объяснения.

— Да вот этот рабочий пришел жаловаться на вашего мальчика, который сказал его сыну: «Твой отец нищий», — объяснил учитель.

Отец Нобиса сдвинул брови и слегка покраснел. Потом он спросил у Карло:

— Это правда, ты так сказал?

Тот стоял посреди класса, лицом к лицу с маленьким Бетти, низко опустив голову, и ничего не отвечал. Тогда отец взял его за локоть и, подвинув так близко к Бетти, что они почти касались друг друга, приказал:

— Проси прощения!

Угольщик хотел помешать этому, забормотал: «Нет, нет», — но синьор не слушал его и всё повторял:

— Проси прощения, проси прощения, повторяй за мной: «Извини меня за те обидные, бессмысленные и неблагородные слова, которые я сказал о твоем отце; мой отец сочтет для себя честью пожать ему руку».

Угольщик сделал такое движение, как будто хотел сказать

«не надо». Но синьор не слушал его, и в конце концов Карло, не поднимая глаз от земли, медленно произнес:

— Извини меня за те обидные... бессмысленные... и неблагородные слова, которые я сказал о твоем отце. Мой отец... сочтет для себя честью пожать ему руку.

Тогда синьор протянул руку угольщику, и тот крепко ложал ее.

— Сделайте мне одолжение,—продолжал синьор, обращаясь к учителю,—посадите, пожалуйста, этих мальчиков рядом.

Тогда наш учитель велел Бетти занять место на одной парте с Нобисом, и когда они уселись, отец Нобиса раскланялся и ушел, а угольщик постоял еще несколько мгновений, задумчиво смотря на сидящих друг возле друга мальчиков. Потом он подошел к их парте, с удивительной нежностью и жалостью взглянул на Карло, как будто хотел сказать ему что-то, однако ничего не сказал. Потом он протянул руку, словно собираясь погладить мальчика по голове, но не посмел этого сделать и только коснулся его волос своими грубыми пальцами. Затем он направился к выходу, обернулся еще раз, взглянул на Карло и вышел.

— Никогда не забывайте того, что вы сейчас видели, мальчики,—сказал учитель,—это ваш лучший урок за весь учебный год.

УЧИТЕЛЬНИЦА МОЕГО БРАТА

Четверг, 10 ноября

Сын угольщика раньше учился в классе учительницы Делькати, которая пришла сегодня к нам, чтобы навестить моего больного брата. Мы очень смеялись, когда она рассказала нам, как жена угольщика два года тому назад принесла ей полный фартук угля в благодарность за то, что ее сын получил медаль, как она не хотела уносить этот уголь обратно домой и почти плакала, когда ей пришлось-таки возвращаться с полным передником.

Учительница рассказала нам еще, как одна добрая женщина принесла ей удивительно тяжелый букет цветов, внутри кото-

рого оказалась большая горсть сольдо. Нас всех очень рассмешили эти рассказы, а мой больной братишко даже выпил лекарство, которое раньше ни за что не хотел принимать.

Какое терпенье нужно иметь с малышами приготовительного класса, беззубыми, как старики! Один из них не произносит «р», другой «с», кто кашляет, у кого идет носом кровь, у этого свалились под парту деревянные башмаки¹, тот хнычет, оттого что укололся пером, еще кто-нибудь плачет, потому что купил тетрадь № 2 вместо тетради № 1. В классе пятьдесят таких малышей, которые ничего не знают, у которых такие неловкие ручонки, и всех их нужно научить писать. В карманах у них и пуговицы, и пробки, и осколки кирпича, масса всякой ненужной дребедени, и учительнице приходится всё это вытряхивать вон, а малыши прячут от нее свои сокровища даже в башмаки. А как они легко отвлекаются: достаточно влететь в окно большой муже, и уже поднимается суматоха: а летом ребятишки приносят в школу траву и майских жуков, которые кружат по классу, падают в чернильницы, а потом пачкают чернилами тетради.

Учительница должна ухаживать за своими малышами, как настоящая мама: она помогает им одеваться, перевязывает порезанные пальцы, поднимает свалившиеся береты, следит, чтобы дети не перепутали свои пальтишки, так как иначе они поднимают крик или пищат, как котята. Бедная учительница!

А матери еще приходят жаловаться! «Как это так вышло, что мой мальчик потерял свою ручку?», «А почему это мой ничему не научился?», «Отчего мой сын не получил медали? Ведь он всё знает!», «Как вы не видели, что в парте торчит гвоздь? мой Пьеро разорвал штанишки!».

Иногда мальчики просто выводят из себя учительницу, и когда она не в силах больше терпеть, то кусает себе палец, чтобы сгоряча не дать кому-нибудь подзатыльника; бывают случаи, что она теряет терпение, но потом сама же жалеет об этом и утешает малыша, которому задала головомойку. Когда ей слу-

¹ Деревянные башмаки — распространенная в Италии обувь, выдолблена из цельного куска дерева. Ее носят беднейшие классы.

чтися прогнать какого-нибудь шалуна домой, потом она сама раскаивается в этом и сердится на родителей, если они в наказание оставляют ребенка без обеда.

Учительница Делькати молода, стройна, всегда хорошо одета. У нее смуглое лицо, и она никогда не бывает спокойной, а всё время движется как на пружинах. Ее легко растрогать, и тогда она становится очень ласковой.

— Дети, должно быть, очень любят вас? — спросила мама.

— Многие — да, — ответила учительница, — но потом, когда год окончится, большинство не обращают больше на меня внимания. Когда они переходят в руки учителей, то начинают стыдиться, что были когда-то в классе у учительницы. После двух лет забот, после того, как привяжешься к малышу, так грустно с ним расставаться. Я часто говорю себе: «Вот этот, я уверена, будет всегда любить меня». Но проходят каникулы, он возвращается в школу, и я бегу ему навстречу: «О мой милый, милый мальчик!» Но он отворачивается, он смотрит в другую сторону... — Здесь учительница остановилась. — Но ты так не сделаешь, моя крошка? — сказала она, вставая и целуя моего брата, — ты не забудешь, не правда ли, своей первой учительницы?

МОЯ МАТЬ

Четверг, 10 ноября

В присутствии учительницы твоего брата ты невежливо говорил со своей матерью, Энрико! Чтобы этого никогда больше не было! Твои грубые слова пронзили мне сердце словно стальным клинком. Я вспомнил, как несколько лет тому назад мама целую ночь просидела над твоей кроваткой, прислушиваясь к твоему дыханию, плача и дрожа от страха потерять тебя. В ту ночь я боялся, что она лишится рассудка.

Сейчас я вспомнил об этом, и мне стало тяжело смотреть на тебя, Энрико. Как, ты обидел свою мать, которая отдала бы целый год счастья, чтобы избавить тебя от одного часа страданий, которая пошла бы просить милостыню, дала бы себя

убить, чтобы спасти свою жизнь! Подумай об этом, Энрико. Запомни это хорошенько! Знай, что в жизни тебя ожидает много тяжелых дней, но самым тяжелым из них будет тот день, когда ты потеряешь свою мать. Когда ты станешь взрослым мужчиной, сильным, испытанным в борьбе, ты будешь мысленно тысячу раз призывать ее, Энрико, охваченный страстным желанием снова хотя бы на миг услышать ее голос и, рыдая, как беспомощный и беззащитный ребенок, снова упасть в ее объятия. С каким чувством вспомнишь ты тогда те огорчения, которые причинял ей, и с какими угрызениями совести будешь ты их пересчитывать! Не жди себе спокойствия в жизни, если ты в детстве огорчал свою мать. Ты будешь раскаиваться, просить у нее прощения, благоговейно вызывать в памяти ее образ,— напрасно!

Совесть твоя не даст тебе покоя, и образ твоей матери, нежный и добрый, всегда будет глядеть на тебя с выражением такой грусти и укоризны, что ты будешь переживать настоящую пытку.

О, Энрико, берегись! Любовь к матери — самая священная из человеческих привязанностей. Горе тому, кто осмелится попирать ее ногами!

Если убийца почитает свою мать, значит, в сердце его еще живы честность и благородство. Но самый знаменитый из людей, если он огорчает и оскорбляет свою мать, остается все-таки самым низким животным. Пусть никогда больше не вырвется у тебя грубого слова по отношению к той, которая дала тебе жизнь. А если и вырвется оно, то пусть не страх перед отцом, а порыв собственного сердца бросит тебя к ее ногам и заставит молить, чтобы поцелуй прощения смил с твоего лба печать неблагодарности. Я люблю тебя, сын мой! Ты — самая дорогая надежда моей жизни, но я предпочел бы увидеть тебя мертвым, чем неблагодарным по отношению к матери. Теперь ступай, Энрико, и некоторое время не подходи ко мне с лаской: я не смог бы сейчас ответить тебе от чистого сердца.

Твой отец.

МОЙ ТОВАРИЩ КОРЕТТИ

Воскресенье, 13 ноября

Отец простил меня, но мне всё еще было очень грустно, и мама послала меня вместе со старшим сыном нашего привратника прогуляться на улицу.

Мы прошли уже половину пути и поравнялись с лавкой, у двери которой стояла телега, как вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я обернулся. Это был Коретти, мой товарищ по классу, в той же фуфайке шоколадного цвета и берете из кошачьего меха, потный и весёлый, с вязанкой дров. Человек, стоявший на телеге, подавал ему одну вязанку за другой. Мальчик хватал их и относил в лавку своего отца.

— Что ты делаешь, Коретти? — спросил я.

— А ты разве не видишь? — ответил он, протягивая руку за очередной вязанкой дров. — Я учу уроки.

Я засмеялся. Но он говорил серьезно и, подняв на плечо очередную вязанку, забормотал на бегу: «Спряжением глагола называется... изменение его по лицам... по лицам... по числам...» — Он успел уже сбросить вязанку: — «...в зависимости от времени... от времени... к которому относится действие». — Тут он вернулся к телеге за новой вязанкой — «...в зависимости от наклонения, в котором выражено действие...»

Это было наше задание по грамматике к завтрашнему дню.

— Вот видишь, — сказал он мне, — я не теряю даром времени. Мой отец вместе с работником ушли по делу, мать больна, и мне приходится разгружать телегу. Одновременно я повторяю грамматику. Сегодня нам задали трудный урок. Никак не могу его вбить себе в голову... Отец сказал, что вернется в семь часов и тогда отдаст вам деньги, — прибавил он, обращаясь к вознице.

Телега уехала.

— Зайди на минутку в лавку, — сказал мне Коретти.

Я вошел. Это была большая комната, загроможденная поленницами дров и хворостом. В углу стояли большие весы.

— Сегодня, скажу я тебе, выдался трудный денек, — продолжал Коретти, — и мне приходится готовить уроки урывками.



Только я начал писать предложения, как пришли покупатели, только я снова сел за письмо, как прикатила телега. А сегодня утром я уже два раза сбежал на площадь Венеции, где находится дровяной рынок. Я прямо не чувствую ног от усталости, и руки у меня распухли. Плохо бы мне пришлось, если бы нам задали еще урок по рисованию! — Говоря это, Коретти подметал сухие листья и щепки, валявшиеся на кирпичном полу.

— А где же ты пишешь, Коретти? — спросил я.

— Ну, конечно, не здесь, — ответил он. — Иди, посмотри, — и он повел меня в комнатку за лавкой; эта комната служила одновременно и кухней и столовой. У стены стоял стол; на нем лежали книги и тетради, одна из которых была раскрыта.

— Я как раз, — сказал он, — не дописал ответа на второй вопрос. «Из кожи делают обувь, ремни...»; сейчас я прибавлю еще «чемоданы», — и, взяв перо, он стал писать своим красивым почерком.

— Есть здесь кто-нибудь? — послышалось в эту минуту из лавки. Это какая-то женщина пришла купить дров.

— Иду, — отозвался Коретти, выскочил из комнатки, взвесил дрова, получил деньги, побежал в угол, записал полученную сумму в книгу и вернулся к своей работе, приговаривая: — Посмотрим, удастся ли мне окончить предложение, — и написал: «дорожные сумки, ранцы для солдат...»

— Ах, — закричал он вдруг, — кофе закипел! — и побежал к печке, чтобы снять кофейник с огня.

— Это кофе для мамы, — сказал он. — Пришлось-таки мне научиться его варить. Подожди, мы вместе снесем его маме, ей будет приятно тебя видеть. Вот уже шесть дней, как она в постели... Спряжение глагола... Я всегда обжигаю себе пальцы об

чтот кофейник... Что прибавить еще к ранцам для солдат? Туда надо бы еще что-нибудь написать, но мне ничего не приходит в голову... Пойдем к маме.

Он открыл дверь, и мы вошли в другую маленькую комнатку. На большой кровати лежала мать Коретти. Голова ее была обвязана белым платком.

— Вот кофе, мама,— сказал Коретти, протягивая ей чашку,— а это мальчик из нашего класса.

— Какой вы милый, синьорино, что зашли навестить больную,— сказала она.

Тем временем Коретти поправил подушку за спиной своей матери и одеяло на постели, подбросил дров в печку и прогнал кошку с комода.

— Вам ничего больше не надо, мамочка?— спросил он, беря у нее из рук пустую чашку.— Вы приняли две ложечки вашего лекарства? Когда оно кончится, я снова сбегаю в аптеку. Дрова разгружены. В четыре часа я поставлю мясо на огонь, как вы сказали, а когда придет продавщица масла, я дам ей восемь сольдо. Всё будет в порядке, не беспокойтесь.

— Спасибо, сынок,— ответила мать.— Бедный мальчик, тебе приходится обо всем заботиться.

Она предложила мне кусочек сахара, а потом Коретти показал мне фотографию своего отца в солдатской форме, с медалью за храбрость, которую он получил в 1866 году, в войсках принца Умберто; у него было то же лицо, что у сына, с теми же живыми глазами и веселой улыбкой.

— Вернемся в кухню, я придумал, что еще делают из кожи,— сказал Коретти и написал в тетрадке: «и лошадиную сбрую».— Остальное я докончу вечером, лягу спать попозже. Какой ты счастливый, что можешь заниматься сколько хочешь и еще ходить гулять!

Как всегда, весело и проворно он вернулся в лавку, стал укладывать поленья одно за другим на козлы и распиливать их пополам, приговаривая:

— Это моя гимнастика! Не то, что: «Руки вперед! Руки вверх!» Я хочу, чтобы к приходу моего отца все эти дрова были распилены; то-то он обрадуется. Плохо, что после пилки дров

я пишу такие «д» и такие «у», что они похожи на змей, как говорит учитель. Но ничего не поделаешь! Я ему скажу, что мне пришлось поработать руками. Главное, чтобы мама скорее поправилась, вот что важно. Сегодня ей, слава богу, лучше! Грамматику я доучу завтра утром, встану вместе с петухами. А вот и телега с лесом; ну, теперь за работу!

Нагруженная доверху телега остановилась перед лавкой. Коретти выбежал поговорить с возницей и снова вернулся.

— Теперь я буду занят,—сказал он.—До свиданья, до завтра. Как хорошо, что ты зашел ко мне; ну а теперь иди гуляй, счастливчик!

Он пожал мне руку и бегом начал носить жерди из телеги в лавку. Его свежее лицо горело румянцем под шапочкой из кошачьего меха, и он так ловко управлялся с работой, что приятно было на него смотреть.

«Счастливчик»,—сказал он мне. О нет, Коретти, нет! Ты счастливее меня, потому что ты учишься и работаешь больше, чем я, потому что ты больше помогаешь своим родителям, потому что ты лучше меня, в сто раз лучше, ты настоящий младец!

НАШ ДИРЕКТОР

Пятница, 18 ноября

Сегодня утром Коретти очень обрадовался: к нам на контрольную работу пришел его прошлогодний учитель Коатти. Это высокий человек, с целой шапкой курчавых волос, пышной черной бородой, большими темными глазами и громовым голосом. Он всегда грозится, что разорвет своих учеников на клочки и за шиворот стащит их в полицию; он делает всё, чтобы напугать их, но на самом деле никого никогда не наказывает и только незаметно улыбается себе в бороду. У нас в школе всего восемь учителей, считая Коатти и маленького безбородого помощника, который на вид кажется совсем мальчиком. Хромой учитель четвертого класса всегда кутается в большое шерстяное кашне и постоянно жалуется на какую-то болезнь. Эту болезнь он подхватил еще в то время, когда был учителем в сырой сельской школе, где со стен стекала вода.

Другой учитель четвертого класса — старенький и седой — раньше был учителем в школе слепых. А учителя со светлыми усиками, который всегда хорошо одет и носит очки, мы прозвали «адвокатиком», потому что, работая в школе, он кончил юридический факультет и получил диплом. Кроме того, он написал книгу о том, как обучать письму.

Гимнастику нам преподает бывший солдат, сражавшийся в войсках Гарибальди¹, и на шее у него шрам от удара саблей, полученный в битве при Милаццо².

Директор наш — высокий, лысый, в золотых очках, с полу-седой бородой, спускающейся ему на грудь. Он всегда одет во всё черное и застегнут на все пуговицы. Он такой добрый, что, когда к нему в кабинет дрожа входят ученики, вызванные за какую-либо провинность, он никогда не кричит на них, а только берёт их за руки и начинает уговаривать, чтобы они никогда больше не поступали так, чтобы они раскаялись в своих пропступках и обещали быть всегда хорошими. Он говорит так убедительно и таким мягким голосом, что все выходят из его кабинета с покрасневшими глазами и еще более смущенные, чем если бы их наказали. Мне жаль директора: он всегда раньше других на своем посту в школе, утром встречает учеников и объясняется с родителями, а вечером, когда учителя уже уйдут домой, он всё еще ходит вокруг школы — смотрит, не катаются ли ученики на запятах карет и не задерживаются ли на улице, чтобы пройтись на руках или набить свои ранцы песком или камешками. Каждый раз, когда он появляется из-за угла, высокий и весь в черном, целые стайки мальчиков, играющих на панели, разбегаются во все стороны, побросав свои перышки и камешки, а он, с печальным и добрым выражением на лице, грозит им издали пальцем.

Никто не видел, чтобы он улыбался, сказала мне мама, с тех

¹ Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — народный герой Италии, мужественный борец за национальное освобождение и воссоединение Италии.

² Милаццо — город на острове Сицилия. В 1860 году Гарибальди, сражавшийся за освобождение Южной Италии, одержал под Милаццо решительную победу над королевскими войсками.



пор как умер его сын, ушедший добровольцем в армию. Портрет сына всегда у него перед глазами, на столе в кабинете. После этого несчастья директор хотел уйти из школы и написал уже заявление о выходе на пенсию; оно лежало у него на столе, но он со дня на день откладывал его отправку, так как ему жалко было расставаться с детьми. На днях мой отец зашел в кабинет к директору и, узнав о его решении, сказал:

— Как жаль, что вы от нас уходите, синьор директор!

В эту минуту в кабинет вошел незнакомый мужчина с мальчиком, которого нужно было перевести из другой школы в нашу, из-за переезда на новую квартиру.

Увидев этого мальчика, директор вздрогнул от изумления, несколько мгновений смотрел на него не отрывая глаз, обернулся к портрету, который стоял у него на столе, и снова устремил глаза на ребенка. Потом привлек его к себе и заставил поднять лицо. Мальчик походил как две капли воды на погибшего сына директора.

Наконец директор сказал: «Хорошо», — записал новичка, прощался с отцом и сыном и задумался.

— Как жаль, что вы уходите, — повторил в эту минуту мой отец.

Тогда директор взял свое прошение об отставке, разорвал его пополам и сказал:

— Я остаюсь.

СОЛДАТЫ

Вторник, 22 ноября

Сын нашего директора пошел добровольцем в армию, и там умер, поэтому директор, в тот час, когда мы выходим из школы, всегда отправляется на главную улицу смотреть, как проходят войска.

Вчера это был пехотный полк, и человек пятьдесят мальчиков побежали впринрыжку следом за музыкантами и пели и отбивали такт, стучая линейками по ранцам и сумкам. Мы с товарищами стояли на ступеньках школы и смотрели. Тут были Гарроне, в своей тесной курточке, жующий огромную краюшку хлеба, Вотини, тот самый, который всегда хорошо одет и всё время смахивает пылинки со своего костюма, Прекосси, сын кузнеца, в отцовской куртке, и мальчик из Калабрии, и Кирличонок, и рыжеволосый Кросси, и Франти со своей дерзкой физиономией, и Робетти, сын артиллерийского капитана, тот самый, что спас ребенка, оттащив его от омнибуса, и теперь ходит на костылях.

Вдруг Франти расхохотался прямо в лицо солдату, который шел немного прихрамывая,— но в ту же минуту чья-то рука легла ему на плечо. Он обернулся и увидел директора.

— Стыдись,— сказал ему тот.— Смеяться над солдатом, который находится в строю и не может ни отплатить тебе, ни ответить — это же самое, что оскорблять связанного человека; это низко.

Франти сделал вид, что он страшно смущен. Солдаты шли по четыре в ряд, покрытые потом и пылью, и ружья их сверкали на солнце.

Директор продолжал:

— Любите солдат, дети. Это наши защитники. Они завтра же пойдут на смерть ради нас, если враг нападет на нашу родину. Это такие же юноши, как и вы, только на несколько лет старше. Они, так же как и вы, учата, среди них также есть бедные и богатые, и они также пришли со всех концов Италии. Смотрите, это можно угадать по их лицам: вот идут уроженцы Сицилии, Сардинии, Неаполя, Ломбардии. Это старый полк, один из тех, которые сражались в тысяча восемьсот сорок восьмом году¹. Солдаты в нем уже другие, но знамя осталось прежним. Сколько бойцов погибло за нашу родину, сражаясь

¹ В 1848 году в результате революционных выступлений в разных областях Италии Пьемонт объявил войну Австрии. Однако эта война закончилась для него поражением.

под этим знаменем за двадцать лет до того, как вы родились!

— Вот оно! — воскликнул Гарроне.

И действительно, вдали, над головами солдат, появилось знамя.

— Знаете что, дети, — предложил директор, — приветствуйте, как школьники, трехцветное знамя Италии, когда его будут проносить мимо.

Знамя приближалось. Его нес офицер. Оно было разорванное и выцветшее, а к древку его были прикреплены ордена. Мы, все разом, подняли руки. Офицер посмотрел на нас, улыбнулся и отдал нам честь по-военному.

— Молодцы, мальчики, — сказал кто-то позади нас.

Мы обернулись и увидели старика с голубой ленточкой в петлице, — знак того, что он участвовал в Крымской войне¹. Это был офицер в отставке.

— Молодцы, — сказал он, — вы хорошо сделали, что приветствовали знамя.

Тем временем полковой оркестр прошел нашу улицу и повернулся на другую, окруженный толпой мальчиков; их веселые крики вторили звукам труб, как военная песня.

— Молодцы, — повторил, глядя на нас, старый офицер, — Тот, кто с детства почтает знамя своей родины, сумеет защитить его, когда станет взрослым.

ЗАЩИТНИК МАЛЕНЬКОГО НЕЛЛИ

Среда, 23 ноября

Бедный и маленький горбун Нелли тоже смотрел вчера на солдат, но с таким видом, как будто думал: «А я никогда не смогу быть солдатом!»

Нелли хороший мальчик и прилежно учится, но он такой худенький и бледный, и так тяжело дышит. На нем всегда длинный черный передник из блестящей ткани.

¹ Крымская война (1853—1856) велась Англией, Францией и Турцией против России. Сардинское королевство присоединилось в 1855 году к этой войне на стороне англо-франко-турецкой коалиции.



Его мать, невысокая блондинка, одетая в черное, каждый день приходит за ним в школу, чтобы мальчики не затолкали его при выходе, и, встречая, всегда нежно ласкает его.

В первые дни многие дразнили Нелли за то, что он горбун, и били его по спине ранцами, но он покорно переносил всё и ничего не говорил матери, зная, как она огорчится при мысли, что ее сын служит посмешищем для своих товарищей.

Его мучили, а он только плакал и молчал, опустив голову на парту.

Но однажды утром вдруг вскочил Гарроне и крикнул:

— Первый, кто осмелился тронуть Нелли, получит от меня такой подзатыльник, что три раза перевернется в воздухе.

Франти, который решил пренебречь этими словами, тут же получил подзатыльник, трижды перевернулся, и после этого никто уже больше не трогал маленького горбунца.

Учитель посадил Нелли рядом с Гарроне, за ту же парту, и они сделались друзьями. Нелли сильно привязался к Гарроне и едва входит в класс, как сейчас же ищет глазами — а где Гарроне? Уходя, он обязательно говорит: «До свиданья, Гарроне».

Если Нелли уронит под парту перо или книгу, Гарроне сейчас же наклоняется и поднимает их, чтобы Нелли не надо было нагибаться. Потом он помогает Нелли укладывать передник в ранец и надевать пальто. Поэтому Нелли очень любит Гарроне, не спускает с него глаз, и когда учитель хвалит Гарроне, то Нелли радуется так, как если бы похвалили его самого.

В конце концов Нелли, должно быть, всё рассказал своей матери: и как над ним смеялись в первые дни, и как его мучили, а потом и о товарище, который встал на его защиту и к которому он привязался. Я думаю так потому, что вот что случилось сегодня утром.

За полчаса до окончания занятий учитель попросил меня отнести директору план урока, и как раз когда я был у него в кабинете, туда вошла белокурая синьора в черном платье — мать маленького Нелли — и сказала:

— Синьор директор, в одном классе с моим сыном учится мальчик по имени Гарроне, не правда ли?

— Да,— ответил директор.

— Не будете ли вы так добры и не вызовете ли его сюда? Мне хотелось бы сказать ему несколько слов.

Директор послал в наш класс сторожа, и через минуту на пороге показался страшно удивленный Гарроне.

Не успела синьора увидеть его, как бросилась к нему, положила руки ему на плечи и стала целовать его большую стриженную голову, говоря:

— Так это ты Гарроне — друг моего сына, защитник моего бедного Нелли, это ты, мой дорогой, славный мальчик, это ты!

Потом она поискала у себя в карманах и в сумочке и, не найдя ничего, сняла с себя цепочку с крестиком и надела ее на шею Гарроне, под галстук, со словами:

— Возьми эту вещицу, мой милый мальчик, носи ее на память о матери бедного Нелли, которая благодарит тебя и всю жизнь будет думать о тебе с благодарностью.

ПЕРВЫЙ УЧЕНИК

Пятница, 25 ноября

Гарроне завоевал любовь всего класса, а Деросси — всеобщее восхищение. Он и в прошлом году получил первую медаль и в этом году также будет первым,— никому не под силу тягаться с ним, и все признают его превосходство по всем предметам. Он первый по арифметике, по грамматике, по сочинениям, по рисованию; он все схватывает на лету, у него изумительная память, все дается ему без труда, и кажется, что он не учится, а играет.

Вчера учитель сказал ему:

— У тебя очень большие способности, Деросси, смотри не растратить их даром.

Вместе с тем Деросси высокого роста, красивый, с целой шапкой белокурых локонов; он такой ловкий, что легко перепрыгивает через парту, опервшись на нее одной рукой, и уже умеет фехтовать. Ему двенадцать лет, он сын богатых родителей и всегда одет в синий костюм с позолоченными пуговицами. Он

постоянно оживлен, весел, со всеми приветливо разговаривает, всегда помогает другим на экзаменах, и никто еще ни разу не осмелился обидеть его или сказать ему грубость.

Только Нобис и Франти смотрят на него косо, а у Вотини в глазах мелькает зависть.

Но Деросси даже не замечает этого. Все улыбаются ему, когда он проходит по классу своей изящной походкой, собирая тетради.

Он дарит мальчикам иллюстрированные журналы и картинки, которые получает дома; он начертил для нашего калабрийца маленькую географическую карту Калабрии; и всё это он делает с улыбкой, непринужденно, никогда не отдавая предпочтения одному перед другими. Нельзя не завидовать ему, не чувствовать себя ниже его во всех отношениях. Ах, я так же, как и Вотини, завидую ему.

Каждый раз, когда я мучаюсь дома над заданными уроками и вдруг вспомню, что Деросси наверное уже всё сделал, и сделал прекрасно и без всякого труда, я начинаю думать о нем с горечью и даже с неприязнью.

Но потом, в школе, стоит мне только снова увидеть нашего красивого, веселого Деросси, услышать, как он свободно и уверенно отвечает на вопросы учителя, увидеть, как он приветлив и как его любят товарищи, вся горечь, вся неприязнь исчезают из моего сердца и мне стыдно, что вчера я их испытывал.

Тогда мне хочется всё время быть около Деросси, хочется учиться вместе с ним и дальше. Его присутствие, его голос придают мне силы, внушают желание работать, делают меня веселым и радостным.

Учитель дал ему переписать ежемесячный рассказ, который он нам прочитает завтра: «Маленький ломбардский разведчик». Деросси списывал его сегодня утром и был так взволнован геройским подвигом, что лицо его запыпало, глаза стали влажными, а губы приоткрылись.

Он был так хороший в эту минуту, что мне хотелось откровенно, честно сказать ему: «Деросси, ты в тысячу раз лучше меня. Я уважаю тебя и восхищаюсь тобой!»

МАЛЕНЬКИЙ ЛОМБАРДСКИЙ РАЗВЕДЧИК

(ежемесячный рассказ)

Суббота, 26 ноября

В 1859 году, во время войны за освобождение Ломбардии, через несколько дней после битвы при Сольферино и Сан-Мартино¹, где французы и итальянцы одержали победу над австрийцами, в одно прекрасное июньское утро небольшой конный отряд медленно продвигался по пустынной тропинке вперед, по направлению к противнику, внимательно исследуя всю окрестность.

Отрядом командовали офицер и сержант. Люди напряженно всматривались в даль — не мелькнут ли среди деревьев белые мундиры передовых частей неприятеля. Таким образом отряд дошел до маленького деревенского домика, окруженного высокими ясениями. На пороге сидел мальчик лет десяти и стругал ножом ветку, чтобы сделать из нее тросточку.

Из окна дома свешивалось большое трехцветное знамя, но внутри никого не было: должно быть, крестьяне, вывесившие флаг, убежали из страха перед австрийцами.

Как только мальчик увидел солдат, он отбросил в сторону свою ветку и снял берет. Это был красивый парнишка, с открытым, смелым лицом, голубыми глазами и длинными светлыми волосами. Он был без куртки, и рубаха его была распахнута на груди.

— Что ты здесь делаешь? — спросил у него офицер, останавливая коня. — Почему ты не ушел вместе со своей семьей?

— У меня нет семьи, — отвечал мальчик, — я найденыш, работаю то на одного, то на другого. Я остался, чтобы посмотреть на войну.

— Проходили ли здесь австрийцы?

— Нет, вот уже три дня, как их не видно.

Офицер на минуту задумался, потом соскочил с коня и, оставив солдат, которые не переставали напряженноглядеться

¹ Сольферино и Сан-Мартино — деревни в Северной Италии. Возле них в 1859 году объединенные силы Пьемонта и Франции нанесли поражение австрийским войскам.

в сторону противника, вошел в дом и поднялся на крышу; но домишко был низенький, и с крыши можно было увидеть только небольшой участок местности.

— Надо бы влезть на дерево,—сказал офицер и спустился вниз.

Прямо перед домом поднимался высокий и тонкий ясень, вершина которого купалась в голубом небе.

Офицер погрузился в раздумье, поглядывая то на солдат, то на дерево, потом внезапно он обратился к мальчику:

— У тебя хорошие глаза, паренек?

— Хорошие ли глаза?—воскликнул тот.—Да я вижу воробья за целую милю!

— А ты сумел бы взобраться на вершину этого дерева?

— На вершину этого дерева? Еще бы, в полминуты.

— А сумеешь ты рассказать мне все, что увидишь оттуда? Нет ли с какой-нибудь стороны австрийских солдат, не видно ли столбов пыли, блестящих штыков, лошадей?

— Конечно, сумею.

— А что ты возьмешь за это?

— Что возьму?—переспросил, улыбнувшись, мальчик.—Да ничего! Вот если бы меня попросили немцы, то я ни за какие деньги не сделал бы этого, но для своих!.. Ведь я ломбардец!

— Ну хорошо, полезай наверх.

— Одну минутку, я только сниму башмаки.

Мальчик разулся, потуже затянул ремень, бросил берет на траву и обхватил руками ствол дерева.

— Постой!—вырвалось вдруг у офицера, и он сделал такое движение, как будто, охваченный неожиданным страхом, хотел удержать мальчика.

Тот обернулся и вопросительно посмотрел на командира своими прекрасными голубыми глазами.

— Нет, ничего,—сказал тот,—полезай.

Мальчик стал ловко, как кошка, карабкаться на дерево.

— Смотрите вперед!—крикнул офицер солдатам.

Через несколько мгновений мальчик был уже на вершине дерева; руками он крепко держался за ствол, ноги его были скрыты листвой, но грудь выступала над кроной, и солнечный

свет падал прямо на его светлые волосы, заставляя их блестеть как золото.

Офицер с трудом мог разглядеть его, таким маленьким казался он снизу.

— Смотри вдаль прямо перед собой! — крикнул офицер наверх.

Чтобы лучше видеть, маленький разведчик отнял одну руку от ствола дерева и прикрыл глаза от солнца.

— Что ты видишь?

Мальчик наклонил голову и, приставив руку ко рту в виде рупора, крикнул:

— Я вижу двух всадников на белой дороге.

— На каком расстоянии?

— В полумиле.

— Они двигаются?

— Нет, стоят на месте.

— Что ты видишь еще? — спросил офицер после минутного молчания. — Посмотри направо.

Мальчик посмотрел направо. Потом он сказал:

— Около кладбища что-то блестит из-за деревьев. Это похоже на штыки.

— Видишь ты там людей?

— Нет. Люди, наверное, спрятались в пшенице.

В эту минуту в воздухе раздался тонкий свист пули, которая перелетела далеко за домик.

— Слезай! — закричал офицер. — Тебя увидели. Мне ничего больше не нужно, спускайся!

— Но я не боюсь, — возразил мальчик.

— Слезай!.. — повторил офицер. — А что ты видишь налево?

— Налево?

— Да, налево.

Мальчик повернулся голову влево; в тот же миг вторая пуля с еще более тонким свистом и еще ниже, чем первая, прорезала воздух. Мальчик вздрогнул.

— Вот здраво, — вырвалось у него, — они целят прямо в меня!

Пуля действительно пролетела совсем близко от него.

— Више! — отрывисто и сердито крикнул командир.

— Сейчас, — отвечал мальчик. — Дерево закрывает меня, не бойтесь. Так вы хотите знать, что я вижу слева?

— Да, слева, — повторил офицер, — но слезай.

— Слева, — продолжал мальчик, наклоняясь всем телом в ту сторону и высовываясь из листвы, — там стоит часовня и мешает мне видеть...

В третий раз пуля зловеще просвистела в воздухе, и почти в то же мгновение люди увидели падающего мальчика. Сначала он пытался схватиться за ствол и за ветки дерева, но потом полетел прямо вниз головой, широко раскрыв руки.

— Проклятье! — закричал офицер, подбегая к дереву.

Мальчик ударился о землю спиной и теперь лежал навзничь, раскинув руки. Струйка крови текла у него из груди. Сержант и двое солдат соскочили с коней; офицер наклонился и раскрыл рубашку на груди мальчика, — пуля пробила ему левое легкое.

— Он умер! — воскликнул офицер.

— Нет, он жив, — возразил сержант.

— Ах, бедный мальчик, храбрый мальчик, держись, не падай духом!

Но пока офицер уговаривал его не падать духом и прикладывал ему к ране носовой платок, мальчик вдруг широко раскрыл глаза и уронил голову, — он был мертв.

Офицер побледнел и несколько мгновений смотрел на него не двигаясь. Потом уложил его так, чтобы голова ребенка покоялась на траве, и встал, не спуская с него глаз; сержант и оба солдата стояли и так же молча смотрели на мальчика. Остальные глядели в сторону врага.

— Бедный мальчик, — повторил, офицер, — бедный храбрый мальчик.

Потом он приблизился к домику, отцепил от окна трехцветное знамя и покрыл им, как погребальным покрывалом, тело ребенка, оставив его лицо открытым.

Сержант положил рядом с ним башмаки, берет, палочку и ножик.

Еще несколько минут все постояли молча. Потом офицер повернулся к сержанту и сказал:

— Мы пошлем за ним людей из походного госпиталя: он умер как солдат,— пусть его похоронят солдаты.

Затем он отдал честь мертвому мальчику и скомандовал:

— На коней!

Все вскочили в сёдла, небольшой отряд построился и поскакал дальше.

А несколько часов спустя маленькому герою были отданы последние воинские почести. На закате солнца вся передовая линия итальянцев пошла в наступление, и по той же дороге, по которой утром проскакал наш отряд, потянулась двойная колонна стрелкового батальона, того самого, который несколько дней тому назад оросил своей доблестной кровью склоны холма Сан-Мартино. Весть о смерти маленького героя распространилась среди солдат еще до того, как они покинули свой последний лагерь. Тропинка вдоль ручья проходила воего в нескольких шагах от знакомого нам домика. Когда первые офицеры батальона увидели тело маленького разведчика, распластертое у подножья ясения и покрытое трехцветным знаменем, они, с саблями наголо, отдали ему честь. Один из них нагнулся, сорвал несколько цветков, которых много росло по берегу ручья, и бросил их на тело мальчика. И тогда все солдаты, проходя мимо, стали срывать цветы и бросать их маленькому герою. В несколько минут отказался покрыт цветами, а офицеры и солдаты, проходя, отдавали ему честь и говорили:

— Слава тебе, маленький ломбардец!

— Прощай, юный храбрец!

— Вот тебе цветы, белокурый герой!

— Слава тебе! Прощай! — Один офицер положил ему на грудь свою собственную медаль за храбрость, другой нагнулся и поцеловал его в лоб.

Цветы все сыпались и сыпались на его босые ноги, на окровавленную грудь, на белокурую голову, и мальчик как будто спал, лежа на траве, покрытый родным знаменем, с белым, словно улыбающимся лицом... Казалось, он слышал все, что происходило кругом, и был счастлив, что отдал жизнь за свою дорогую Ломбардию.

Декабрь

МАЛЕНЬКИЙ ДЕЛЕЦ

Четверг, 1 декабря

Мой отец хочет, чтобы в каждый свободный день я приглашал к нам одного из своих товарищей или сам шел бы к кому-нибудь из них и таким образом мало-помалу подружился бы со всеми. В воскресенье я пойду к Вотини, тому мальчику, который всегда хорошо одет, всегда сдувает со своего костюма пылинки и завидует Деросси. А сегодня ко мне пришел Гароффи, длинный и худой, с носом, похожим на совиный клюв, и маленькими хитрыми глазками, которые так и рыскают кругом. У его отца — колониальная лавочка. Гароффи — странный мальчик. Он всё время пересчитывает свои деньги; считает он по пальцам, быстро-быстро и делает вычисления в уме, не заглядывая в таблицу умножения. Он копит деньги, и у него уже есть книжка в сберегательной кассе нашей школы. Правда, в этом нет ничего удивительного, так как он никогда не тратит ни одного сольдо, а если случайно уронит мёдную монету, то способен целую неделю искать ее под партами. Деросси говорит про Гароффи, что он, как сорока, тащит к себе всё, что ни попадется под руку: старые перья, использованные марки, булавки, остатки свечей, всякую чепуху. Вот уже больше двух лет, как он собирает почтовые марки, и у него в большом альбоме уже есть несколько сот марок разных стран. Когда альбом будет полон, Гароффи продаст его в писчебумажный магазин. А пока хозяин этого магазина дает ему даром тетради за то, что он водит в

лавку многих мальчиков. В школе Гароффи всё время устраивает какие-то сделки: что-то продает, разыгрывает, меняет. Потом он часто раскаивается и хочет получить отданную вещь обратно. То, что ему удается купить за два сольдо, он старается продать за четыре; играя в перышки, он никогда не проигрывает; он перепродает старые газеты в табачную лавку, и у него есть записная книжка, полная разных сложений и вычтаний, в которую он записывает все свои обороты.

В классе он интересуется одной арифметикой и если стремится получить медаль за отличие, то только для того, чтобы иметь право на бесплатный вход в кукольный театр.

Но мне он нравится, потому что с ним никогда не бывает скучно. Сегодня, когда он был у нас в гостях, мы взяли весы и гири и играли в магазин. Гароффи знает точную цену каждой вещи, разбирается в гирях и ловко делает фунтики из бумаги, совсем как настоящий лавочник. Он говорит, что как только окончит школу, так сейчас же начнет торговаться, откроет какую-то новую торговлю, которую сам выдумал. Он очень обрадовался, когда я дал ему несколько иностранных марок, и сейчас же точно определил, за какую цену каждую из них можно продать.

Мой отец делал вид, что читает газету, а сам вслушивался в слова моего товарища и забавлялся.

Карманы у Гароффи всегда набиты всякими мелкими товарами, и он заботливо прикрывает их длинной черной накидкой. Он всегда погружен в свои мысли и поэтому выглядит очень занятым, как настоящий делец. Но всего дороже для него альбом с марками. Он бережет его как сокровище и уверен, что в будущем эта коллекция принесет ему целое состояние. Товарищи называют его скупердялем и ростовщиком, но я не знаю,



так ли это. Я люблю его, он учит меня многим интересным вещам и кажется мне серьезным мальчиком. Коретти, сын торговца дровами, говорит, что Гароффи не отдал бы своей коллекции марок даже для того, чтобы спасти жизнь матери, но мой отец не верит этому.

— Погоди, не торопись осуждать товарища,— сказал он мне сегодня вечером.— Гароффи увлечен своей страстью, но у него доброе сердце.

ТЩЕСЛАВИЕ

Понедельник, 5 декабря

Вчера я гулял по аллее Риволи вместе с Вотини и его отцом.. Проходя по улице Дора Гросса, мы увидели Старди, того самого мальчика, который, чтобы ему не мешали, отпихивает ногой товарищей.

Он неподвижно стоял перед витриной книжного магазина, не отрывая глаз от выставленной на окне географической карты; неизвестно, сколько времени он уже простоял так, потому что он и на улице тоже старается учиться. Он такой невежа, что еле ответил нам, когда мы с ним поздоровались.

Вотини был одет очень нарядно, даже слишком нарядно: на нем были сафьяновые сапожки с красной строчкой, курточка, вышитая шелком и украшенная шелковыми же кисточками, белая фетровая шляпа, часы, и он выступал страшно важно, высоко задрав нос. Но на этот раз тщеславию его суждено было сыграть с ним злую шутку.

Мы пробежали большую часть аллеи, оставив далеко позади его отца, который шел медленно, и остановились около каменной скамьи; на ней сидел скромно одетый мальчик с усталым видом и опущенной головой.

Какой-то мужчина, должно быть его отец, прохаживался взад и вперед под деревьями, читая газету. Мы сели на ту же скамью, причем между мной и мальчиком оказался Вотини. Вдруг он вспомнил, как прекрасно одет, и ему захотелось, чтобы наш сосед заметил это и позавидовал ему.

Он поднял одну ногу и сказал мне:

— А ты видел, какие у меня замечательные офицерские сапоги? — Он сделал это для того, чтобы обратить на себя внимание незнакомого мальчика, но тот даже не повернул головы.

Тогда Вотини опустил ногу и показал мне свои шелковые кисточки, искоса поглядывая при этом на нашего соседа; он прибавил, что они ему не нравятся и что он хочет заменить их серебряными пуговицами. Но незнакомый мальчик не посмотрел и на кисточки.

Тогда Вотини стал вертеть на конце указательного пальца свою прекрасную белую фетровую шляпу. Но мальчик, как будто нарочно, не удостоил взглядом и белую шляпу.

Вотини, которого это начинало сердить, вынул свои часы, открыл их и показал мне механизм. Мальчик не обернулся.

— Они серебряные, позолоченные? — спросил я.

— О нет, — ответил Вотини, — они золотые.

— Но не чисто же золотые, — продолжал я. — В них есть, наверное, доля серебра?

— Да нет, — настойчиво повторил Вотини, — они чисто золотые, — и, чтобы заставить мальчика взглянуть на часы, он сунул их ему к самому носу: — Скажи, ведь правда, они золотые?

— Не знаю, — сдержанно ответил мальчик.

— Ого, — воскликнул возмущенный Вотини, — какой ты гордый!

Пока он говорил это, к нам подошел его отец, который все слышал. Он в упор посмотрел на незнакомого мальчика, потом резко сказал своему сыну: «Молчи», — и, нагнувшись, шепнул нам на ухо:

— Он слепой!

Вотини вскочил с приглушенным криком и заглянул в лицо мальчику. Зрачки у него были как будто стеклянные, без выражения, без взгляда.

Вотини стоял уничтоженный, молча, опустив глаза в землю. Потом он пробормотал:

— Прости меня... я не знал.

Но слепой мальчик, который все понял, ответил ему с добродушной улыбкой:

— О, это ничего не значит.

Да, Вотини тщеславен, я знаю это, но у него совсем не плохое сердце, и всё время, пока мы шли домой, он был очень грустным.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Суббота, 10 декабря

Кончились наши прогулки по аллее Риволи! Сегодня выпал первый снег,— какая радость для нас, мальчиков! Еще вчера вечером начали падать большие снежные хлопья, похожие на цветы жасмина. А сегодня утром во время уроков мы с радостью смотрели, как снежинки мелькали за стеклами и ложились на наружные подоконники; учитель тоже поглядывал в окно и потирал себе руки, и все с восторгом мечтали об игре в снежки, о том, что вода в лужах замерзнет и что дома каждого из нас ожидает веселый огонек в камине. Один только Старди не обращал ни на что внимания и сидел погруженный в свои уроки, подперев голову кулаками.

А когда мы вышли из школы,— какая красота, какой восторг! Все с криком побежали по улице, хватая целые пригоршки снега и плескаясь в нем, как маленькие собачонки в воде. Родители ожидали нас на улице под раскрытыми зонтиками, которые совсем побелели от снега. Все наши ранцы в несколько минут стали тоже белыми. Мы были просто вне себя от радости, даже Прекосси, сын кузнеца, бледный мальчик, который никогда не смеется; а Робетти, тот, который спас ребенка из под колес омнибуса, теперь, бедняжка, весело подпрыгивал на своих костылях. Мальчик из Калабрии, никогда раньше не державший в руках снега, слепил из него комок и стал есть его, как перчик; Кросси, сын зеленщицы, набил снегом свой ранец; а из-за Кирпичонка мы чуть не лопнули от смеха: мой отец пригласил его прийти завтра к нам, а у того был полон рот снега и он, не решаясь ни выплюнуть, ни проглотить его, стоял перед нами с набитым ртом, смотрел на нас и ничего не мог ответить!

Учительницы также со смехом выбежали из школы. Даже учительница первого класса побежала, бедная, под снегом, закрывая лицо своим зеленым шарфом и кашляя.

Девочки из соседней школы с громкими криками начали прыгать по этому легкому ковру, а учителя, учительницы, сторожа и полицейский кричали: «Домой! Домой!» При этом в рот им залетали снежные хлопья, а усы и бороды у них стали совсем белыми. Но они тоже смеялись веселью школьников, которые праздновали наступление зимы...

КИРПИЧОНОК

Воскресенье, 11 декабря

Кирпичонок пришел сегодня к нам, одетый в старую отцовскую куртку, побелевшую от извести и цемента. Мой отец еще больше, чем я, хотел, чтобы Кирпичонок пришел к нам, и, действительно, он нам всем очень понравился. Как только он явился, так сразу же снял свою лоскутную шапочку, запорошенную снегом, и сунул ее в карман. Потом он направился в комнату медленной походкой усталого рабочего, поворачивая во все стороны круглое, как яблоко, лицико с приплюснутым носом; когда он вошел в столовую, он оглядел всю мебель, остановил взгляд на картине, где был изображен горбатый шут Риголетто, и сстроил свою «заячью мордочку». Невозможно удержаться от смеха, когда он строит эту мордочку.

Мы начали с ним играть в кубики. Кирпичонок с удивительной ловкостью строил башни и мосты, которые, казалось, каким-то чудом не падали.

Он работал над своими постройками страшно серьезно, с терпением взрослого человека. Играя, он рассказал мне о своей семье: они живут на чердаке, его отец учится грамоте в вечерней школе, его мать — уроженка города Бьелы. Родители, должно быть, очень любят его, потому что хотя он одет бедно, но тепло, его платье аккуратно заштопано, а галстук завязан заботливой материнской



рукой. Он рассказал мне, что отец его — человек огромного роста, настоящий великан, который с трудом входит в дверь, но очень добрый и всегда называет своего сына «заячьей мордочкой»; а сам Кирпичонок, наоборот, совсём маленький.

В четыре часа мы забрались на диван и закусили хлебом с вареньем. А когда мы встали, то, не знаю почему, отец не позволил мне почистить спинку дивана, которую Кирпичонок запачкал известкой из своей куртки. Отец сначала удержал мою руку, а потом сам незаметно почистил диван.

Во время игры у Кирпичонка оторвалась пуговица, и моя мама пришила ее. Пока она шила, Кирпичонок стоял красный и смущенный и смотрел на нее с восхищением, затянув дыхание.

Потом мы показали ему альбом с карикатурами, и он, сам того не замечая, так замечательно копировал нарисованные физиономии, что даже мой отец смеялся от всего сердца. Кирпичонок был так доволен; что, уходя, забыл даже надеть свою лоскутную шапочку, а на лестничной площадке еще раз состроил «заячью мордочку». Кирпичонка зовут Антонио Рабукко, и ему восемь лет и восемь месяцев.

— Знаешь ли, сын мой, почему я не дал тебе почистить спинку дивана? Потому, что почистить ее на глазах у твоего товарища, значило бы почти сделать ему замечание за то, что он ее запачкал. А это было бы нехорошо, во-первых, потому, что он сделал это не нарочно, а во-вторых, потому что это была куртка его отца, который запачкал ее во время работы; а то, что попадает на нашу одежду во время работы, это не грязь — это пыль, известка, лак, всё, что хочешь, но не грязь. Работа не пачкает. Никогда не говори о рабочем, который идет с работы: он грязный. Скажи: на его одежде следы его работы. Помни об этом. И хорошенъко люби «Кирпичонка» — во-первых, потому, что это твой товарищ, а во-вторых, потому, что он сын рабочего.

Твой отец.

СНЕЖОК

Пятница, 16 декабря

Снег всё идет и идет. Сегодня, когда мы выходили из школы, из-за этого снега произошел ужасный случай. Несколько мальчиков, как только выбежали на улицу, принялись бросать друг в друга снежками. Снег был мокрый, и снежки получались твердые и тяжелые, как камни. На тротуарах было много народа. Какой-то синьор крикнул: «Довольно, мальчики, прекратите!» — и в то же мгновение на другой стороне улицы раздался крик и мы увидели старика без шляпы, который шатался, закрыв лицо руками; а рядом с ним стоял мальчик и кричал: «Спасите, спасите!»

Все бросились к ним. Снежок попал старику прямо в глаз. Школьники разлетелись во все стороны как стрелы. Я стоял перед книжным магазином, куда вошел мой отец, и видел, как несколько учеников из нашего класса подбежали к магазину, смешались с теми, кто уже стоял рядом со мной, и стали делать вид, что рассматривают витрину.

Это были Гарроне, как всегда с булкой в кармане, Коретти, Кирличонок и Гароффи, тот самый, который собирает марки.

Тем временем вокруг старика образовалась толпа, а полицейский и еще несколько человек стали бегать по улице, грозно спрашивая:

— Кто это? Кто это сделал? Это ты? Скажите, кто это?

Они особенно внимательно посмотрели на мальчиков, у которых руки были в снегу. Гароффи стоял рядом со мной, и я заметил, что он дрожит и страшно бледен.

— Кто это? Кто это сделал? — продолжали кричать вокруг.

Тут я услышал, как Гарроне тихо сказал Гароффи:

— Ну, иди, сознайся, ведь это будет подло, если обвинят кого-нибудь другого.

— Но я сделал это не нарочно, — отвечал Гароффи, дрожа как лист.

— Это неважно, иди и выполнит свой долг, — повторил Гарроне.

— Я боюсь!

— Ничего, я пойду вместе с тобой.

А полицейский и другие кричали тем временем всё громче и громче:

— Кто это? Кто это сделал? В глаз синьору попало стекло от очков, вы лишили его зрения, разбойники!

Я думал, что Гароффи сейчас упадет от страха.

— Пойдем,— решительно сказал Гарроне,— я не дам тебя в обиду,— и, схватив Гароффи за руку, он потащил его, поддерживая, как больного. Толпа, увидев их, сразу поняла, в чем дело, и несколько человек бросились к мальчикам с поднятыми кулаками. Но Гарроне загородил товарища, крича:

— Как, десять взрослых против одного ребенка?

Люди остановились, а один из полицейских схватил Гароффи за руку и потащил его сквозь толпу в небольшую закусочную, куда еще раньше провели раненого старика.

Когда я увидел его вблизи, так сразу же узнал того старого служащего, который живет на четвертом этаже нашего дома вместе со своим племянником. Он сидел на стуле, и глаза у него были закрыты носовым платком.

— Я сделал это нечаянно,— рыдал Гароффи, полумертвый от страха,— я сделал это нечаянно!

Двое или трое мужчин грубо втолкнули его в закусочную, крича: «На колени! Проси прощенья!»— и бросили его на землю.

Но в ту же минуту две мощные руки поставили его снова на ноги и твердый голос произнес:

— Нет, синьоры, я этого не допущу.

Это был наш директор, который всё видел.

— Раз мальчик имел мужество сознаться,— продолжал он,— никто не имеет права унижать его.

Все стояли молча.

— Проси прощенья,— сказал тогда директор Гароффи.

Мальчик, обливаясь слезами, обнял колени старика, а тот ощупью нашел его голову и погладил по волосам. Тогда все заговорили:

— Иди, мальчик, иди, ступай к себе домой!

Мой отец вывел меня из толпы и, пока мы шли по улице, спросил:

— А у тебя, Энрико, в таком случае хватило бы мужества выполнить свой долг и открыто сознаться в своей вине?

Я ответил, что да.

— Дай мне честное слово школьника,— прибавил тогда мой отец,— что ты действительно будешь так поступать.

— Да, отец, даю тебе честное слово.

НАШИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Суббота, 17 декабря

Сегодня Гарофи дрожал от страха, в ожидании строгого наказания, но наш учитель не пришел, а так как его заместитель тоже отсутствовал, то в класс к нам явилась синьора Кроми, самая старая из учительниц; у нее двое взрослых сыновей, и она учила читать и писать еще тех синьоров, которые теперь сами провожают своих сыновей в школу Баретти. Сегодня у нее был очень грустный вид, так как один из ее сыновей болен.

Как только мы увидели, что к нам пришла учительница, то начали шуметь, но она спокойным и тихим голосом сказала нам:

— Уважайте мои седые волосы! я не только учительница, я мать.

И тогда мы все замолчали, даже этот бессовестный Франти, который тайком, однако, состроил насмешливую гримасу.

В класс синьоры Кроми пошла синьора Делькати, учительница моего брата, а в класс Делькати — та, которую мы прозвали монашкой, потому что она ходит всегда в темном платье и черном переднике; у нее худое, бледное лицо, гладкие волосы, глаза светлые-светлые, и она разговаривает таким тихим голосом, как будто все время шепчет молитвы.

— Я просто не могу понять,— говорит про нее мама,— ведь она такая тихая и робкая, у нее такой слабый и ровный голос, что его еле можно расслышать, она никогда не кричит и не сердится, а вместе с тем дети у нее сидят так смирно, что их



и не слышно; довольно, чтобы она погрозила им пальцем, и самые отчаянные шалуны опускают головы. Ее еще потому зовут монашкой, что в классе у нее тишина, как в церкви.

Но мне больше нравится молоденькая учительница первого класса; лицо ее, с двумя ямочками на щеках, похоже на свежую розу, она носит шляпу с большим красным пером, а на шее — желтый стеклянный крестик. Она веселая, и в классе у нее тоже весело; она всегда улыбается, смеется своим серебристым смехом, так что кажется, что

она поет, стучит палочкой по столу и хлопает в ладоши, чтобы вдоворить тишину.

А когда дети собираются домой, она перебегает, как девочка, от одного к другому, устанавливая их в пары. Этому она поправляет воротник, тому застегивает пальто, чтобы он не простудился, следит, чтобы они не ссорились на улице, упрашивает родителей не наказывать их дома, раздает им леденцы, если они кашляют, и дает свою муфту тем, у кого мерзнут ручонки.

Малыши совершенно не дают ей покоя: то они ласкают ее, то просят поцеловать, тянут ее за вуаль и за макидку, но она все им позволяет и всех их, смеясь, целует и каждый день возвращается домой вся растрепанная, без голоса, запыхавшаяся и довольная, со своими прелестными ямочками и красным пером на шляпе. А ведь она еще дает уроки рисования в школе девочек и содержит мать и маленького брата.



В ГОСТЯХ У БОЛЬНОГО

Воскресенье, 18 декабря

Племянник старого служащего, которому Гароффи попал в глаз снежком, учится в классе учительницы с красным пером. Он живет у дяди, который воспитывает его как сына; там мы и встретили его сегодня.

Учитель поручил мне переписать ежемесячный рассказ «Маленький флорентийский писец», и я как раз кончил эту работу, когда отец сказал мне:

— Подымемся на четвертый этаж, навестим синьора с больным глазом.

Мы вошли в почти темную комнату. На постели, со множеством подушек за спиной, сидел старик с завязанным глазом, а на стуле у изголовья — его жена. Маленький племянник играл в углу. Старик очень обрадовался, увидев моего отца, просил садиться и сказал, что ему лучше, что он не только не потерял глаза, но что через несколько дней будет совсем здоров.

— Это был несчастный случай,— прибавил он,— мне жаль бедного мальчика, он сильно испугался.

Потом старый синьор заговорил о докторе, который должен был прийти к нему. Как раз в это мгновение позвонили.

— Это доктор,— сказал синьора.

Дверь открылась... и кого же мы увидели? На пороге стоял, опустив голову, Гароффи и не решался войти.

— Кто это? — спросил больной.

— Это мальчик, который бросил снежок,— сказал мой отец.

— Ах ты мой бедный! — воскликнул тогда старик.— Иди сюда, ты наверно пришел, чтобы справиться о моем здоровье, но мнё лучше, успокойся, мне уже гораздо лучше, я почти здоров, подойти ко мне.

Гароффи, донельзя сконфуженный, приблизился к кровати, еле удерживая слёзы.

Старик погладил его по голове, но Гароффи не мог сказать ни слова.

— Благодарю тебя,— продолжал больной,— передай своим родителям, что всё хорошо, чтобы они больше не беспокоились.

Но Гарофи не двигался с места,— казалось, что он хочет что-то сказать, но не смеет.

— Что ты хочешь сказать? Тебе нужно что-нибудь?

— Я... ничего.

— Ну тогда до свиданья, мальчик, иди со спокойным сердцем.

Гарофи дошел до двери, но там остановился и повернулся к маленькому племяннику, который с любопытством следил за ним глазами. Вдруг Гарофи сунул в руки мальчику какой-то предмет и быстро сказал ему: «Это тебе»,— и убежал.

Мальчик принес полученный пакет на постель к дяде, и мы увидели, что на нем написано: «Я дарю это тебе». Мы развернули подарок и вскрикнули от изумления: бедный Гарофи принес свой знаменитый альбом с марками, ту самую коллекцию, о которой он постоянно говорил, на которую возлагал столько надежд и которую собрал с таким трудом. Это было его сокровище, половина его сердца, и теперь, получив прощение, он отдавал его как подарок.

МАЛЕНЬКИЙ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ПИСЕЦ¹

(ежемесячный рассказ)

Джулио учился в четвертом классе начальной школы. Это был изящный двенадцатилетний флорентиец с черными волосами и бледным лицом, старший сын железнодорожного служащего. Семья была большая, жалованье отца маленькое, и поэтому родители с трудом сводили концы с концами.

Отец очень любил Джулио, всегда обращался с ним мягко и был к нему снисходителен во всем, что не касалось учения. Но тут он был исключительно требовательным и строгим, так как Джулио должен был как можно скорее получить аттестат, поступить на службу и начать помогать семье. Поэтому мальчику приходилось много заниматься, и хотя он учился хорошо, отец постоянно еще подгонял и поощрял его.

¹ Флоренция — главный город провинции Тосканы, крупнейший культурный центр Италии.



Отец Джулио был уже не молод, да и чрезмерная работа состарила его прежде времени. Однако, для того, чтобы удовлетворить все нужды семьи, он, хотя и был очень занят на службе, брал еще дополнительную переписку на дом и часть ночи проводил за письменным столом.

В последнее время ему удалось получить работу в одном издательстве, которое рассыпало журналы и книги на дом. Отец Джулио должен был крупным и красивым почерком надписывать на бандеролях фамилию и адрес, и получал по три лиры за каждые пятьсот бандеролей.

Но это работа страшно утомляла его, и часто, сидя за обедом вместе со своей семьей, он жаловался:

— Я начинаю терять зрение, эта ночная переписка просто убивает меня.

Однажды Джулио сказал отцу:

— Папочка, разреши мне поработать вместо тебя ночью, ведь ты знаешь, что у меня точно такой же почерк.

Но отец ответил ему:

— Нет, мой мальчик, ты должен учиться. Твои занятия гораздо важнее, чем мои бандероли, и мне было бы совестно отнять у тебя хотя бы один час твоего времени; благодарю тебя, но я никогда не соглашусь, чтобы ты помогал мне, и не будем больше говорить об этом.

Сын знал, что в таких случаях спорить бесполезно, и не стал больше настаивать, однако вот что он сделал.

Он заметил, что ровно в полночь его отец прекращал работу и уходил из своего кабинетика в спальню. Несколько раз Джулио слышал, как часы били двенадцать, и сейчас же после этого отец отодвигал свое кресло и раздавались его медленные шаги.

И вот однажды ночью мальчик дождался, чтобы отец лег в постель, потом тихонько оделся, ощупью проокрался в кабинет, снова зажег керосиновую лампу, сел за письменный стол, на котором лежала стопка чистых бандеролей и список адресов, и принялся писать, в точности подражая отцовскому почерку.

Он писал охотно, с явным удовольствием, хотя и с некоторым страхом; стопка заполненных бандеролей росла; время от

времени Джулио клал перо, чтобы потереть руки, а потом снова, еще быстрее, принимался писать, прислушиваясь и улыбаясь.

Он надписал таким образом сто шестьдесят бандеролей,— заработал целую лиру! Тогда он кончил, положил перо на то место, откуда взял его, потушил лампу и на цыпочках вернулся к себе.

В этот день, за обедом, отец был в очень хорошем настроении. Он ничего не заметил, так как всегда надписывал свои бандероли механически; работая до положенного часа и думая о другом, и только на следующий день подсчитывал готовые бандероли.

Итак, в этот день он сел обедать в прекрасном настроении и, похлопав сына по плечу, сказал:

— Ну, Джулио, твой отец, оказывается, еще работник хоть куда! Вчера ночью я за два часа сделал на целую треть больше, чем обычно. Рука у меня еще быстрая, и глаза еще служат исправно.

Джулио молча радовался, думая про себя: «Бедный папа, кроме большего заработка, я доставил ему еще радость чувствовать себя помолодевшим. Итак, смелее вперед!»

Окрыленный успехом, на следующую ночь, едва пробило двенадцать, Джулио снова встал и принялся за работу.

Так продолжалось много ночных подряд, и отец ничего не замечал. Одни только раз, за ужином, у него вырвалось:

— Удивительно, как много керосина выходит у нас за последнее время!

Джулио насторожился, но разговор на этом окончился, и мальчик спокойно мог продолжать свою ночную работу.

Однако, работая таким образом каждую ночь, Джулио не высыпался, вставал утром усталый, а по вечерам, когда он готовил уроки, у него сами собой закрывались глаза.

Однажды вечером — впервые в жизни — он заснул, уронив голову на тетради.

— Эй, проснись,— закричал его отец и заклопал в ладони,— за работу!

Мальчик встрепенулся и снова принялся за уроки.

Но назавтра и в следующие вечера мальчик был таким же усталым, и чем дальше, тем дело шло всё хуже и хуже.

Джулио дремал над своими книгами, утром вставал позже обычного, уроки делал кое-как, и казалось, что он потерял всякий интерес к учению.

Отец стал наблюдать за ним, потом забеспокоился и, наконец, начал делать сыну замечания, чего никогда не случалось раньше.

— Джулио,— сказал он однажды утром,— я не узнаю тебя больше, за последнее время ты стал совсем другим. Это мне не нравится. Не забывай, что ты — надежда всей семьи. Я недоволен тобой, понимаешь?

Это был первый по-настоящему серьезный упрек в жизни Джулио, и мальчик смущался.

«Да,— подумал он про себя,— так не может продолжаться, я должен кончить свою ночную работу и не обманывать больше родного отца».

Но в тот же день отец весело сказал за обедом:

— А знаете ли вы, что в этом месяце я заработал своими бандеролями на тридцать две лиры больше, чем в прошлом?

С этими словами он вынул и положил на стол пакетик со сладостями, который купил, чтобы вместе со своей семьей отпраздновать необычный заработок.

Дети захлопали в ладоши.

Тогда Джулио приободрился и мысленно сказал себе: «Нет, мой бедный папочка, я и дальше буду тебя обманывать. Я приложу все усилия, чтобы лучше учиться днем, но буду по-прежнему работать ночью для тебя и для всей семьи».

Тем временем отец продолжал:

— Лишних тридцать две лиры! Это прекрасно!.. Но вот этот мальчик,— и он указал на Джулио,— меня огорчает.

Джулио выслушал отцовский упрек молча, проглотив слёзы, готовые выкатиться из глаз; но в глубине души ему все-таки было очень приятно.

Он заставил себя работать и дальше, но усталось всё накапливалась, и ему всё труднее и труднее становилось ей сопротивляться. Он уже два месяца работал по ночам, а отец продол-

жал бранить сына и смотрел на него всё более сердитыми глазами.

В один прекрасный день отец пошел в школу, чтобы поговорить с учителем, и тот сказал ему:

— Да, ваш сын делает кое-какие успехи, потому что он способный мальчик, но он уже не увлекается чтением, как прежде. Он дремлет на уроках, зевает, стал рассеянным. Сочинения его сделались короткими, и написаны они теперь всегда наскоро, плохим почерком. О, ваш сын мог бы делать большие, гораздо большие успехи.

В этот вечер отец имел с Джулио особенно серьезный разговор. Он никогда еще не говорил с ним так строго.

— Джулио, ты видишь, что я работаю, что я разрушаю свое здоровье ради семьи. А ты не оказываешь мне нужной поддержки. Ты, значит, не любишь ни меня, ни своих братьев, ни свою мать!

— Ах, нет, не говори так, папочка! — закричал, плача, мальчик и уже открыл рот, чтобы во всем сознаться, но отец прервал его:

— Ты знаешь наше положение, ты знаешь, что каждый из нас должен идти на некоторые жертвы. Мне самому сейчас придется удвоить свои усилия, так как я рассчитывал в этом месяце получить на железной дороге сто лир премии, а сегодня утром узнал, что ничего не получил!

Когда Джулио услышал эту новость, то удержал слова признания, которые уже готовы были вылиться у него из самого сердца, и сказал сам себе:

«Нет, папочка, ты ничего не узнаешь; я буду хранить свою тайну для того, чтобы по-прежнему работать за тебя. Правда, сейчас я огорчаю тебя, но я искуплю это своей работой. В школе я всегда буду достаточно хорошо учиться, чтобы перейти в следующий класс; самое главное сейчас — это помочь тебе зарабатывать и облегчить тот труд, который тебя убивает».

Прошло еще два месяца, и Джулио по-прежнему работал по ночам, с трудом занимался днем, выбивался из сил и выслушивал горькие упреки отца.

Но хуже всего было то, что отец начал как будто бы окла-

девать к сыну и почти перестал с ним разговаривать, как с неудачником, от которого нельзя ожидать ничего хорошего. Он избегал даже встречаться с ним взглядом.

Мальчик замечал это и страдал, а когда отец не обращал на него внимания, сын подолгу смотрел на него с глубокой и грустной нежностью.

От этих огорчений и от усталости Джулио похудел и побледнел и всё больше и больше забрасывал свои уроки.

Он хорошо понимал, что рано или поздно всё это должно будет кончиться, и каждый вечер говорил себе: «Сегодня ночью я не встану», — но как только часы били полночь и нужно было осуществить принятое решение, ему вдруг становилось стыдно; ему казалось, что, оставаясь в постели, он не выполняет своего долга и отнимает целую лиру у отца и у всей семьи. И таким образом его ночная переписка продолжалась.

Но однажды вечером отец произнес слова, которые оказались решающими.

Дело в том, что на этот раз мальчик показался матери еще более болезненным и бледным, чем обычно, и она спросила:

— Джулио, уж не заболел ли ты? — Потом, повернувшись к отцу, она с тревогой добавила: — Джулио болен, посмотри, как он бледен! Джулио, милый, что с тобой?

Но отец только мельком посмотрел на сына и сказал:

— Это оттого, что его мучают угрызения совести. Он выглядел иначе, когда был прилежным учеником и любящим сыном.

— Но ведь он на самом деле болен! — воскликнула мать.

— Теперь это мне всё равно! — ответил отец.

Эти слова, как острый нож, поразили мальчика в самое сердце. Ах, так его отцу теперь всё равно! И это сказал отец, который раньше начинал волноваться, стоило Джулио разочек кашлянуть! Значит, он перестал любить своего сына, в этом теперь уже нет сомнения, значит, любовь к сыну умерла в сердце отца.

«Нет, нет, мой милый пapa,— сказал сам себе Джулио, сердце которого скжалось от тоски,— теперь-то уж я взаимно покончу со своей ночной работой, ведь я не могу жить без твоей

любви: я всё открою тебе, всё скажу, никогда больше не буду тебя обманывать и стану, как прежде, хорошо учиться. Будь что будет, только бы ты снова любил меня», — и он твердо решил кончить свою ночную переписку.

И однако в ту же самую ночь он снова встал с постели, скорее по привычке, чем из каких-либо других побуждений. А когда он встал, то ему захотелось в последний раз увидеть, в тишине ночи, тот кабинетик, где он потихоньку работал так много и с таким хорошим чувством на сердце. А когда он оказался за столом, перед зажженной лампой, и увидел чистые бандероли, на которых никогда уже больше не придется ему писать названия городов и фамилии адресатов (он уже успел выучить их наизусть), ему стало так грустно, что он не выдержал и резким движением схватил ручку, чтобы продолжать привычную работу. Но, протягивая руку, он задел книгу, которая упала на пол. Кровь бросилась в лицо мальчику: вдруг проснется отец. Правда, Джгулио не делает ничего дурного, и сам решил во всем сознаться, но всё же, когда он представил себе, что вот сейчас во мраке раздадутся приближающиеся шаги; что его застанут в этот поздний час, в тишине ночи, что проснется и испугается его мать...

Впервые в голову Джгулио пришла мысль, что его отец может почувствовать себя униженным перед сыном, когда узнает всю правду... Всё это привело мальчика в ужас. Затаив дыхание, он напряженно прислушался, но ничего не услышал.

Он приложил ухо к двери, которая была у него за спиной, — тихо. Весь дом спал. Отец не проснулся. Тогда Джгулио успокоился и снова принялся за переписку. Стопка заполненных бандеролей росла. Внизу, на пустынной улице, прозвучали мирные шаги полицейских. Потом быстро проехала карета. Затем медленно прогрохотало несколько телег, и снова настала глубокая тишина; только время от времени где-то далеко принималась лаять собака.

Джулио всё писал и писал; а в это время отец уже стоял у него за спиной. Старик встал, услышав, как упала книга, и ждал... только подходящего момента: грохот проезжающих телег заглушил шум его шагов и легкий скрип отворяемой двери,

и вот он склонил свою седую голову над черноволосой головкой Джулио.

Отец увидел бегающее по бандероли перо и в один миг обо всем догадался, всё понял.

Страшное раскаяние, безграничая нежность охватили его, и он остался стоять без слов, за спиной своего мальчика.

Вдруг Джулио громко вскрикнул: две руки судорожно обвили его голову.

— Папа, папочка, прости, прости меня! — закричал он, узнав своего отца.

— Нет, это ты прости меня! — ответил ему отец дрожащим от слёз голосом, покрывая поцелуями голову сына, — я всё понял, всё знаю и теперь сам прошу у тебя прощения, мой дорогой мальчик. Пойдем, пойдем со мной! — И отец повел Джулио к постели проснувшейся матери.

— Поцелуй хорошенъко нашего чудесного сына, — сказал он. — Джулио четыре месяца не спал и работал вместо меня. А я-то еще так жестоко мучил мальчика, который зарабатывал нам на хлеб!

Мать обняла Джулио и прижала его к своей груди, не в силах вымолвить ни слова, потом она сказала:

— Теперь сейчас же спать, мой мальчик, ложись сейчас же в постель и отдохни хорошенъко. Уведи его и уложи сейчас же!

Отец обнял Джулио, увел его, уложил на кровать и поправил ему одеяло и подушки.

— Спасибо, папочка, — повторял мальчик, — спасибо, но иди и сам ложись спать.. Я теперь счастлив... иди же спать, папочка!

Но отец не хотел уходить, пока Джулио не заснет; он сел около постели, взял сына за руку и сказал:

— Спи, спи, сынок!

Тогда Джулио, успокоенный, заснул и спал много часов подряд... Впервые за четыре месяца его сон был спокойным и ему снились приятные вещи.

А когда он открыл глаза, уже ярко светило солнце и рядом с собой, на краю постели, он увидел седую голову своего спящего отца, который так и провел всю ночь, не отходя от сына.



СИЛЬНАЯ ВОЛЯ

Среда, 28 декабря

Во всем классе один только Старди мог бы сделать то, что сделал маленький флорентиец.

Сегодня утром у нас случилось два происшествия: Гарофи чути не сошел с ума от счастья, так как ему вернули его альбом, да еще подарили три марки республики Гватемала¹, за которыми он охотился целых три месяца, а Старди получил вторую награду.

Теперь Старди — лучший ученик в классе после Деросси. Все были просто поражены! Кто бы мог это предвидеть, когда в октябре отец в первый раз привел его в школу! На нем было тогда смешное зеленое пальто, и его отец перед всем классом сказал учителю: «С моим сыном нужно много терпения, потому что он у меня туто соображает».

Сначала все дразнили Старди деревянной башкой, но он сказал: «Или я лопну, или добьюсь своего», — и начал отчаянно зубрить, днем и ночью, дома, в школе, на улице, стиснув зубы и сжав кулаки. Он был терпелив как вол, упрям как мул, и таким образом, упорно долбя уроки, не обращая внимания на шутки товарищей и отпихивая их ногой, чтобы они ему не мешали, перегнал всех других.

Сначала он плохо понимал арифметику, его сочинения были полны ошибок, он не мог запомнить ни одного предложения, а теперь он решает задачи, правильно пишет и без зазинки отвечает уроки. Всё в нем — его коренастая фигура, квадратная голова, широкие плечи, короткие толстые руки и грубый голос, — всё говорит о железной воле. Он прочитывает всё, что ни попадается ему на глаза, вплоть до клочков газеты и театральных афиш, и если у него есть в кармане десять сольдо, то он покупает себе книгу; он уже собрал себе небольшую библиотечку и однажды, когда был в хорошем настроении, неожиданно даже сказал, что когда-нибудь сведет меня к себе домой и покажет ее. Он ни с кем не разговаривает, ни с кем не играет, а

¹ Республика Гватемала находится в Центральной Америке.

всё время сидит на своей парте, подперев голову кулаками, неподвижный как скала, и слушает, что говорит учитель.

Бедный Старди, как ему, должно быть, много пришлось работать!

Сегодня утром учитель, хотя был сердит и в плохом настроении, сказал, передавая ему медаль:

— Молодец, Старди; кто старается, тот всегда добьется своего.

Но Старди, казалось, ничуть не возгордился, получив такую награду, он даже не улыбнулся, и едва вернулся на свое место с медалью в руке, как снова подпер голову кулаками и принял слушать, еще более неподвижный и сосредоточенный, чем прежде.

Когда после уроков мы вышли на улицу, там ожидал своего сына Старди-отец, такой же краснощекий, толстый и коренастый, с широким лицом и громким голосом. Он не думал, что сын его может получить медаль, и сначала не хотел этому верить. Но когда сам учитель подтвердил, что это действительно так, отец засмеялся от радости, поклопал своего сына по затылку и громко заявил: «Ах ты мой молодец, ах ты мой дурачок, ах ты мой милый!» — глядя на него с удивленной улыбкой. Все вокруг них улыбались, все, кроме самого Старди, который мысленно уже готовил завтрашний урок.

УВАЖАЙ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

Суббота, 31 декабря

Я уверен, что твой товарищ Старди никогда не жалуется на своего учителя. А ты с досадой говоришь: «Учитель был сердит, он был в плохом настроении». Подумай о том, как часто ты сам отвечаешь с раздражением, и кому? — отцу и матери, по отношению к которым каждое твое грубое слово — преступление. А ведь немало поводов для раздражения у твоего учителя. Вспомни, сколько лет он уже работает в школе, с детьми, и хотя многие из них ласковые и хорошие, но всегда есть небла-

годарные, которые злоупотребляют его добротой и не уважают его труд. Да и вы доставляете ему больше горя, чем радости.

А подумал ли ты о том, сколько раз ваш учитель приходит в школу, пересиливая себя, когда ему нездоровится? Может быть, он раздражается оттого, что плохо чувствует себя? И ему становится еще хуже, когда вы не замечаете его самочувствия и злоупотребляете его состоянием.

Уважай и люби своего учителя, сын мой. Люби его потому, что его любит и уважает твой отец; люби его за то, что он развивает твой ум, дает тебе знания и воспитывает тебя. Настанет день, когда ты будешь взрослым мужчиной, а мы, и я и он, уже уйдем из этого мира, и тогда образ его возникнет в твоей памяти рядом с моим. Ты увидишь тогда на его благородном лице выражение скорби и усталости, которых ты не замечаешь теперь. Люби своего учителя,—он принадлежит к огромной семье из пятидесяти тысяч учителей начальных школ, разбросанных по всей Италии. Она воспитывают и учат миллионы твоих сверстников.

Учителя стремятся к великой цели: сделать будущих граждан нашей родины лучшими, чем ее теперешнее население. Мне не доставит радости твоя любовь ко мне, если ты не будешь также любить всех тех, кто делает тебе добро, и среди них прежде всего своего учителя, который должен стоять для тебя на первом месте после отца и матери. Люби его так, как ты любил бы моего брата; люби его, когда он справедлив, и когда кажется тебе несправедливым, люби его веселым, и еще больше люби его, когда он печален. Люби его всегда, и всегда с уважением произноси слово — «учитель». После имени «отец»—это самое благородное, самое нежное имя, которым один человек может назвать другого.

Твой отец.

Январь

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Среда, 4 января

Мой отец был прав: наш учитель был не в духе, потому что плохо чувствовал себя.

Вместо него три дня с нами занимался другой учитель, маленького роста, безбородый и похожий на подростка, и вот какой безобразный случай произошел у нас в классе сегодня утром.

Третьего дня и вчера мы страшно шумели, потому что новый учитель оказался очень добрым и только уговаривал нас: «Потише, я вас прошу, потише».

Но сегодня мы перешли всякие границы. Поднялся такой шум, что нельзя было даже расслышать слов учителя. Он уговаривал нас и просил успокоиться, но всё напрасно. Два раза директор показывался в дверях и строго оглядывал нас, но как только он уходил, снова поднимался шум, как на улице.

Напрасно Гарроне и Деросси поворачивались во все стороны и делали знаки товарищам, чтобы те угомонились. Никто не обращал на них внимания. Один только Старди сидел спокойно, положив локти на парту и подперев голову кулаками, мечтая, должно быть, о своей библиотеке, да Гарофи, тот самый, у которого был крючковатый нос и альбом с марками, занимался составлением списка участников лотереи для розыгрыша карманной чернильницы.

Остальные болтали и смеялись, звенели перышками, воткнутыми в парту, и с помощью резинок от подвязок стреляли друг в друга жеваной бумагой. Новый учитель схватывал за руку то одного, то другого ученика, тряс их, но всё напрасно. Не зная, что ему еще делать, он взмолился:

— Но почему же вы так ведете себя? Вы делаете это нарочно, чтобы я наказал вас?

Потом он ударил кулаком по столу и закричал одновременно и грозно и беспомощно: «Молчать! Молчать! Молчать!» — так, что было жалко его слушать. Но шум в классе всё увеличивался. Франти бросил в учителя бумажную стрелу, некоторые замяукали, другие начали драться; поднялся неописуемый беспорядок. Тут неожиданно в класс вошел сторож и сказал:

— Синьор учитель, вас просит к себе директор.

Учитель встал и, сделав жест отчаянья, вышел из класса.

Шум и гам еще усилился. Но вдруг вскочил Гарроне с искаженным лицом и сжатыми кулаками и закричал голосом, прерывающимся от гнева:

— Довольно, вы, дикие звери! Вы безобразничаете, потому что у нового учителя мягкое сердце. Если бы он вас бил, вы были бы послушными как собаки. Вы — трусливая шайка! Но первый, кто посмеет еще глумиться над учителем, получит от меня хорошую трепку при выходе из школы! Клянусь, что я выбью ему зубы на глазах у его собственного отца!

Все замолчали. Ах, как хорош был в эту минуту Гарроне! Глаза его метали молнии, и он был похож на разъяренного львенка. Он посмотрел по очереди на самых отчаянных, и они опустили головы. Когда учитель вернулся, причем глаза его были красны, в классе не слышно было ни звука. Учитель остановился в изумлении, но, увидев Гарроне, который еще весь дрожал от гнева, он всё понял и сказал ему так ласково, как если бы говорил с родным братом:

— Благодарю тебя, Гарроне.

БИБЛИОТЕЧКА СТАРДИ

Четверг, 5 января

Я был у Старди, который живет напротив школы, видел его библиотечку и позавидовал ему. Он совсем не богат и не может покупать многое книги, но он очень заботливо хранит все свои школьные книги и те, которые получает в подарок от родителей. А когда ему дают деньги, то он откладывает их и тратит потом на книги. Таким образом он уже собрал маленькую библиотечку, и когда его отец заметил это его увлечение, то купил ему чудесную книжную полку из орехового дерева с зеленою занавеской и отдал переплести почти все его книги в разные цвета, какие он захотел. И вот сегодня Старди потянул за шнурок, зеленая занавеска отдернулась, и я увидел три ряда стоящих в полном порядке разноцветных книг, блестящих, с золотыми заглавиями на корешках; здесь были и сказки, и путешествия, и стихи, и книги с картинками. Старди сумел расставить их, подбирая цвета: белые томики он поставил рядом с красными, желтые с черными, синие с белыми, так что они видны были издали и выглядели очень красиво. А потом Старди развлекается тем, что переставляет их.

Он сделал себе каталог, совсем как настоящий библиотекарь, и всё время вертится вокруг своих книг, стирает с них пыль, перелистывает их, рассматривает переплеты. Надо видеть, с какой осторожностью он открывает их своими короткими толстыми пальцами, дуя на страницы, часто еще совсем новые.

А я-то истрепал все свои книги!

Когда Старди удается купить новую книгу, это для него настоящий праздник: он гладит ее, ставит на место и снова берёт в руки, рассматривает со всех сторон и прячет ее, как сокровище. За целый час он мне не показал ничего другого. У него даже глаза заболели, так много он читает. Пока я был у него, в комнату вошел его отец, такой же толстый и коренастый и с такой же большой головой. Он потрепал раза два своего сына по затылку и сказал мне своим грубым голосом:

— Ну, что ты думаешь об этой твердой башке? Она добьется чего-нибудь, эта башка, вот увидиши!



А Старди жмурился от грубой отцовской ласки, как большая охотничья собака. Не знаю почему, но я не смел дурачиться с ним, и мне было странно, что он только на год старше меня. А когда, при расставанье, он со своим обычным угрюмым видом сказал мне: «Прощай!» — я чуть было не ответил ему: «Прощайте, синьор», — как взрослому.

Когда я вернулся домой, то сказал своему отцу:

— Не понимаю; у Старди нет ни какого-нибудь таланта, ни изящных манер, он выглядит почти смешным, и всё-таки я чувствую себя ниже его.

— Это потому, — ответил мой отец, — что он мальчик с характером.

— За тот час, что мы пробыли с ним вместе, — продолжал я, — он не произнес и полсотни слов, не показал мне ни одной игрушки, ни разу не засмеялся, и всё-таки мне было с ним очень интересно.

— Это потому, что ты уважаешь его, — ответил мой отец.

СЫН КУЗНЕЦА

Среда, 11 января

Да, но я уважаю также Прекосси и даже больше, чем уважаю.

Прекосси — сын кузнеца, маленький бледный мальчик с добрыми грустными глазами и испуганным лицом; он так застенчив, что всем говорит: «Простите, пожалуйста».

У него плохое здоровье, но он очень много занимается. Его отец пьет водку, часто возвращается домой пьяный и тогда, без всякой причины, бьет сына, расшвыривает ногами его книги и тетради, и на следующий день мальчик приходит в школу с

покрасневшими от слёз глазами, и распухшее лицо его всё в синяках.

Но никогда, никогда не сознаётся он, что это побил его отец.

— Ведь это отец побил тебя,— говорят ему товарищи.

Но он сейчас же кричит:

— Неправда, неправда! — потому что не хочет позорить своего отца.

— Ведь это не ты сжег этот лист,— говорит ему учитель, показывая ему наполовину сгоревшее домашнее задание.

— Нет, я,— отвечает тот дрожащим голосом,— я уронил его в огонь.

Но мы все прекрасно знаем, что его отец был пьян и опрокинул ударом ноги стол со свечой, в то время как его сын делал уроки.

Прекосси живет на чердаке нашего дома, но только по другой лестнице, и привратница рассказывает всё это моей маме.

Моя сестренка Сильвия слышала однажды, как мальчик кричал, когда отец спустил его с лестницы за то, что сын попросил денег на новую грамматику. Отец пьет, не работает, и семья голодаает. Часто Прекосси приходит в школу голодный и потихоньку съедает булочку, которую сунет ему Гарроне, или яблоко, полученное от учительницы с красным пером на шляпе, у которой он учился в первом классе.

Но никогда он не скажет: «Я голоден, мой отец не кормит меня». Этот отец, когда случается ему пройти мимо, заходит иногда за сыном в школу. Он всегда бледен, еле держится на ногах, лицо его искажено, волосы падают на глаза, берет надет криво, и его сын начинает дрожать, как только издали увидит его на улице. Однако он сейчас же с улыбкой бежит ему навстречу, а отец его делает вид, что не замечает его и думает совсем о другом.

Бедный Прекосси, он подклеивает свои разорванные тетради, занимает у товарищей книги, чтобы приготовить уроки, закалывает дыры на рубашке булавками, а на уроках гимнастики жалко смотреть на огромные башмаки, в которых болтаются его ноги, на брюки, которые тащатся за ним по земле, и на слиш-

ком длинную курточку с рукавами, засученными до локтей. И при всем том, он учится, старается. Он был бы у нас одним из первых, если бы мог спокойно заниматься дома.

Сегодня утром он пришел в школу с царапиной на щеке и все говорили ему:

— Ведь это сделал твой отец, на этот раз ты не можешь отрицать этого, твой отец побил тебя. Расскажи всё директору, и твоего отца вызовут в полицию.

Но Прекосси вскочил, весь красный, и голос его дрожал от гнева:

— Неправда! Неправда! Мой отец никогда не бьет меня!

Но потом, во время урока, слёзы его капали на парту, а когда кто-нибудь смотрел на него, то он нарочно улыбался, чтобы скрыть их. Бедный Прекосси! Завтра ко мне придут в гости Деросси, Коретти и Нелли, и я хочу позвать также и его. Я хочу, чтобы он позавтракал со мной, хочу подарить ему книг, перевернуть в доме всё вверх дном, чтобы развеселить его, и набить ему карманы фруктами. Мне хочется хоть один раз видеть бедного Прекосси довольным. Ведь он такой добрый и мужественно переносит все свои несчастья.

ВЕСЕЛЫЕ ГОСТИ

Четверг, 12 января

Для меня это один из самых лучших четвергов за весь год. Ровно в два часа к нам пришли Деросси, Коретти и горбун Нелли. Но Прекосси не было с ними: его не отпустил отец. Деросси и Коретти со смехом рассказали мне, что встретили на улице Кросси, мальчика с большой рукой и рыжими волосами, который нес продавать огромный кочан капусты. Он должен был продать его за одно сольдо и купить на эти деньги перо. Он весь так и сиял, потому что его отец написал из Америки, чтобы они ожидали его со дня на день.

Какие чудесные два часа я провел со своими товарищами! Деросси и Коретти — самая веселая пара в нашем классе, и мой отец пришел от них в настоящий восторг. Коретти был в своей

фуфайке шоколадного цвета и в берете из кошачьего меха. Он просто какой-то дьяволенок, ему всё время надо что-то устраивать, переспрашивать, суетиться. Сегодня рано утром он уже успел переносить на плечах полвоза дров, а теперь скакал по всей квартире, всё рассматривая и не переставая болтать, ловкий и проворный как белка. Забежав на кухню, он спросил у нашей кухарки, сколько мы платим за десять килограммов дров, и заявил, что его отец продает их за сорок пять чентезимо. Он постоянно говорит о своем отце, который был солдатом в 49-м полку, в батальоне принца Умберто, и участвовал в сражении при Кустоцце¹. И как он хорошо держит себя! Неважно, что он родился и вырос среди дров; мой отец говорит, что благородство у него в крови, что он уже родился с благородным сердцем.

Деросси тоже вел себя замечательно; он знает географию не хуже учителя, он закрыл глаза и сказал:

— Вот я вижу перед собой всю Италию: Апеннины, которые тянутся до самого Ионического моря, реки, которые текут во всех направлениях, белые города, синие заливы, зеленые острова.— И он правильно перечислял все названия по порядку, и так быстро, как будто читал их по карте. Он сидел, гордо подняв свою светлую кудрявую голову, с закрытыми глазами, в своем синем костюме с позолоченными пуговицами, стройный и красивый как статуя, и мы все любовались им.

И Нелли тоже смотрел на него с восхищением и нежностью, теребя свой черный передник и улыбаясь ясными и грустными глазами. Мне было так хорошо с моими товарищами! И когда они ушли, в мыслях моих и на душе всё еще оставалось что-то светлое, какие-то искорки от их посещения. Я смотрел им вслед и радовался, увидев, что два высоких и сильных мальчика сплелись руками, усадили на них бедняжку Нелли и понесли домой, а маленький горбун смеялся так, как я никогда не слышал раньше.

¹ Кустоцца — деревня в Северной Италии у реки Минчо. В 1848 году в сражении возле этой деревни пьемонтские войска были разбиты австрийскими войсками.

А когда я вернулся в столовую, то заметил, что на стене не было больше картины с изображением горбатого шута Риголетто: мой отец снял ее, чтобы она не попалась на глаза Нелли.

ФРАНТИ ВЫГОНЯЮТ ИЗ ШКОЛЫ

Суббота, 21 января

Я терпеть не могу Франти, потому что он злой. Когда в школу приходит чей-нибудь отец, чтобы задать головомойку своему сыну, Франти всегда радуется. Когда кто-нибудь плачет, Франти смеется. Он дрожит перед Гарроне, потому что тот сильнее, и бьет Кирпичонка, потому что тот маленький. Он мучает Кросси за то, что у того больная рука. Он смеется над Деросси, которого все уважают. Он дразнит Робетти, ученика второго класса, который спас мальчика и теперь ходит на костылях. Он вызывает на драку тех, кто слабее его, а когда дело доходит до кулаков, то звереет и дерется страшно больно. Его низкий лоб и мутные глаза, полускрытые козырьком клеенчатого берета, производят какое-то тяжёлое впечатление. Он никого не боится, смеется в лицо учителю, и при случае может украсть

и солгать, не моргнув глазом. Он всегда в ссоре с кем-нибудь, приносит в школу булавки, чтобы колоть своих соседей, и обрывает для игры пуговицы со своей куртки и с курткой своих товарищей. Его сумка, тетради, книги — все измято, разорвано, испачкано, линейка у него зазубрена, перо и ногти обкусаны, платье всё в жирных пятнах и в дырах, потому что он постоянно дерется. Говорят, что его мать заболела из-за него, а отец уже три раза выгонял его из



дому. Каждый раз, когда его мать приходит в школу спрашивать-ся о нем, она уходит плача.

Он ненавидит школу, ненавидит своих товарищей, ненавидит учителя. Учитель иногда делает вид, что не замечает проделок Франти, и тогда тот начинает вести себя еще хуже. Учитель пробовал подойти к нему по-хорошему, но Франти только смеялся в ответ. А когда учитель грозит ему, он закрывает лицо руками, делая вид, что плачет, а на самом деле смеется. Его исключили из школы на три дня, но он вернулся к нам еще более угрюмый и дерзкий, чем прежде.

«Да перестань же, наконец, безобразничать, разве ты не ви-дишь, что мучаешь нашего учителя?»—сказал ему однажды Деросси, но Франти в ответ пригрозил всадить ему гвоздь в живот.

Однако сегодня утром он добился-таки того, что его выгнали вон из школы. В то время как учитель передавал Гарроне черновик ежемесячного январского рассказа: «Маленький ба-рабанщик с острова Сардиния», для того чтобы тот переписал его начисто, Франти бросил на пол пистон и раздавил его ногой. Раздался выстрел. Весь класс вздрогнул. Учитель вскочил на ноги и закричал:

— Франти, вон из класса!

— Это не я,—ответил Франти, но в то же время он смеялся.

— Убирайся вон!—повторил учитель.

— И не подумаю,—заявил Франти.

Тогда учитель, совершенно выведенный из себя, бросился к Франти, схватил его за руку и вытащил из-за парты. Тот отбивался, огрызался, но учитель с силой тащил его прочь. Он почти на руках снес Франти к директору, а затем вернулся в класс и сел за свой стол, охватив голову руками и тяжело дыша.

— И это после тридцати лет работы в школе!—воскликнул он, грустно качая головой.

Мы сидели, затаив дыхание. Руки учителя дрожали от гне-ва, и прямая морщина на его лбу стала такой глубокой, что казалась настоящей раной.

Наконец Деросси встал и произнес:

— Синьор учитель, не огорчайтесь. Мы все вас очень любим.
Тогда лицо учителя немного просветлело, и он сказал:
— Ну что же, давайте продолжать урок, мальчики.

МАЛЕНЬКИЙ БАРАБАНЩИК С ОСТРОВА САРДИНİЯ

(ежемесячный рассказ)

В первый день битвы при Кустоцце, 24 июля 1848 года, с полсотни солдат одного из наших пехотных полков, посланных на возвышенность, чтобы захватить одиноко стоящий там дом, внезапно подверглись нападению со стороны двух рот австрийцев. Под градом пуль наши едва успели укрыться в доме и кое-как забаррикадировать дверь, оставив на поле боя несколько человек убитыми и ранеными. Загородив вход, они бросились к окнам первого и второго этажа и открыли частый огонь по нападающим, которые, развернувшись полукругом и мало-момалу продвигаясь вперед, отвечали не менее сильным огнем. Половиной итальянских солдат командовали два младших офицера и капитан, высокий старик, худощавый и строгий, с совершенно седыми усами и бородой. С ними был также барабанщик, мальчик с острова Сардиния, маленького роста, с лицом оливкового цвета и с глубоко сидящими черными сверкающими глазами. Ему уже исполнилось четырнадцать лет, но на вид с трудом можно было дать двенадцать.

Капитан руководил обороной из комнаты второго этажа. Слова команды раздавались как пистолетные выстрелы, а на железном лице его не отражалось ни малейшего признака волнения. Барабанщик, немного бледный, но твердо держась на ногах, влез на стол и, придерживаясь за стенку, вытягивал шею, пытаясь увидеть, что же делается за окном. Сквозь дым, стекающийся по полам, он различал медленно продвигающиеся вперед белые австрийские мундиры.

Задняя стена дома возвышалась над обрывистым склоном, и в ней было только одно небольшое оконечко под самой крышей. Поэтому австрийцы не угрожали с этой стороны и путь по склону оставался свободным. Под огнем находились только фасад и две боковые стены дома.

Но этот огонь был ужасен,— град свинцовых пуль полосовал стены и крошил черепицу, а внутри дома разбивал потолки, мебель, оконные рамы и створки дверей, так что по комнатам летали щепки, тучи известки и осколки посуды и стекол.

Пули свистели, отскакивали и всё ломали с треском, от которого, казалось, мог лопнуть череп. Время от времени какой-нибудь солдат, стрелявший из окна, падал на пол, и его оттаскивали в сторону. Некоторые бродили по комнатам, шатаясь, зажимая раны руками. В кухне уже лежал один убитый с пропорченным лбом. А полукруг врагов всё суживался и суживался.

Вдруг увидели, как на лице капитана, до сих пор совершенно бесстрастном, появилось выражение тревоги; он большими шагами вышел из комнаты, в сопровождении сержанта. Через три минуты сержант прибежал обратно и позвал барабанщика, сделав ему знак идти за собой. Мальчик бегом поднялся вслед за ним по деревянной лестнице и оказался на пустом чердаке. Здесь, у слухового окна, стоял капитан и писал что-то карандашом на листке бумаги. У ног его, на полу, лежала веревка.

Капитан сложил записку и, посмотрев прямо в зрачки мальчика своими серыми и холодными глазами, отрывисто сказал:

— Барабанщик!

Барабанщик поднял руку к козырьку.

— Ты смелый?

Глаза мальчика засверкали:

— Да, синьор капитан.

— Видишь ли ты там,— сказал капитан, подводя его к оконечку,— на равнине, недалеко от домов Виллафранки¹, отблески штыков? Это наши. Они не двигаются. Возьми эту записку, спустись по веревке из окна, скатись по обрыву, беги через поля, доберись до наших и передай записку первому же офицеру, которого встретишь. Сними и брось здесь ремень и ранец.

Барабанщик снял ремень и ранец, спрятал записку в нагрудный карман. Сержант выбросил за окно веревку, а капитан помог мальчику вылезти из окна.

¹ Виллафранка — небольшой город в Северной Италии.

— Слушай,— сказал он ему,— жизнь всего подразделения зависит от своего мужества и твоих ног.

— Будьте спокойны, синьор капитан,— ответил мальчик, уже вися на веревке.

— Пригибайся к земле, пока будешь бежать по склону,— прибавил капитан, помогая сержанту держать веревку.

— Не беспокойтесь, синьор капитан.

— Ну, с богом.

Через несколько мгновений маленький барабанщик был уже на земле; сержант поднял веревку и ушел, а капитан бросился к окошку и увидел, что мальчик несется вниз по склону.

Он уже стал надеяться, что барабанщику удастся пробежать незамеченным, как вдруг впереди и позади бегущего поднялись с земли пять-шесть облачков пыли; это значило, что австрийцы увидели мальчика и начали стрелять в него с вершины холма. Пули взрывали землю и поднимали эти облачка пыли, но мальчик продолжал бежать. Вдруг он упал.

— Убит!— воскликнул капитан, сжав кулаки.

Но не успел он произнести это слово, как увидел, что мальчик поднимается. «Ах, он только упал!»— сказал себе капитан и вздохнул свободнее. Действительно, маленький барабанщик побежал дальше, несясь во весь дух, но прихрамывая. «Он повредил себе ногу»,— подумал капитан. Облачка пыли снова стали подниматься с земли, но всё дальше и дальше от бегущего. Он был уже вне опасности. У капитана вырвался крик торжества, но он продолжал с волнением следить глазами за мальчиком, потому что тут было дорого каждое мгновение: если записка не будет доставлена в ближайшие же минуты, то или все его солдаты падут смертью храбрых, или ему придется сдаться в плен вместе с ними. Мальчик некоторое время бежал во весь дух, потом, прихрамывая, замедлил шаги, потом снова побежал, но всё медленней и медленней, то и дело спотыкаясь.

«Его, должно быть, задела пуля»,— подумал капитан. Он следил теперь за каждым движением мальчика и подбодрял его криками, как будто тот мог его услышать. Горящими глазами он измерял расстояние между бегущим барабанщиком и далеким блеском оружия, которое виднелось там, вдали, на



равнине, среди позолоченных солнцем полей пшеницы. В то же время он прислушивался к свисту и трескотне пуль внизу, в комнатах, к гневным и повелительным крикам офицеров и сержантов, к громким стонам раненых, к стуку падающей мебели и обломков.

— Вперед! Смелее! — кричал он, следя глазами за бегущим вдали барабанщиком. — Скорее! Беги! Черт возьми, он остановился! Нет, побежал дальше.

Офицер, запыхавшись, поднялся на чердак и доложил, что враг, не прекращая огня, выбросил белый флаг, требуя, очевидно, переговоров о сдаче.

— Не отвечать им! — гаркнул капитан, не спуская глаз с мальчика, который был уже на равнине, но не бежал, а с трудом тащился вперед.

— Да беги же, беги! — повторял капитан, стиснув зубы и кулаки, — собери последние силы, умри, несчастный, но беги!

Вдруг он разразился проклятиями:

— А, негодяй, трус, он сел!

Действительно, мальчик, голова которого до тех пор возвышалась над пшеничным полем, вдруг пропал из виду, как будто упал. Но мгновение спустя голова его показалась снова! Наконец он добежал до кустарника и исчез из глаз.

Капитан бросился вниз. Здесь, под градом пуль, продолжала оборона. Комнаты были полны раненых; некоторые из них, шатаясь, держались за мебель; на стенах и полу были следы крови. Правая рука лейтенанта была пробита пулой. Дым и пыль ослепляли.

— Мужайтесь, — закричал капитан, — держитесь на своих постах! Подкрепление близко! Продержитесь еще немножко!

Австрийцы тем временем подошли еще ближе; уже можно было различить в дыму их искаженные лица, и в грохоте перестрелки слышно было, как они выкрикивали ругательства, требовали сдачи и грозили поджечь дом.

Огонь со стороны обороняющихся все ослабевал, на лицах появилось уныние, невозможно было продолжать оборону. Вдруг выстрелы австрийцев на минуту приостановились, и гром-

кий голос выкрикнул, сначала во-немецки, а потом по-итальянски:

— Сдавайтесь!

— Нет! — заревел стоявший у окна капитан.

И с обеих сторон снова начался еще более сильный и жестокий огонь.

Еще несколько солдат упало. Роковая развязка была неизбежна.

— Не сдадимся! Не сдадимся! — отрывисто, сквозь зубы кричал капитан, бегая по комнатам и судорожно сжимая в руке саблю.

Не в этот момент сержант, сбежавший с чердака, закричал во всю силу своих легких:

— Подкрепление!

— Подкрепление! — радостно подхватил капитан.

При этом крике все — здоровые, раненые, сержанты, офицеры — бросились к окнам, и оборона возобновилась с новой силой.

Через несколько минут в рядах противника почувствовалась сначала некоторая неуверенность, а потом и признаки беспорядка. Тогда капитан спешно собрал небольшой отряд в комнате первого этажа, чтобы сделать вылазку и броситься на врага в штыки. Потом он опять побежал наверх. Едва он успел подняться, как послышался бешеный топот и громовое «ура», и стоявшие у окна увидели, что к ним летят двурогие шапки итальянских карабинеров, целый эскадрон, несущийся во весь опор. Сверкающие как молния клинки рассекали воздух и падали на головы, плечи и спины противника.

Тогда наш отряд, оголив шашки, бросился на улицу.

Враг дрогнул, смешался и отступил.

Участок был очищен, дом свободен, и два батальона итальянской армии заняли возвышенность.

Капитан с оставшимися в живых солдатами вернулся в свой полк, принял участие в дальнейшем бою и во время последней атаки был легко ранен в левую руку отскочившей ружейной пулей.

Этот день закончился нашей полной победой. Но на следую-

ший день итальянцы, несмотря на геройское сопротивление, не смогли справиться с превосходящими силами австрийцев и утром двадцать шестого числа вынуждены были отступить по направлению к реке Минчо.

Наш капитан, хотя и раненый, шел вместе со своими усталыми и молчаливыми солдатами. Добравшись к вечеру до города Гойто, на реке Минчо, он сразу же стал справляться о своем лейтенанте, которому раздробило руку и которого походный госпиталь еще раньше должен был доставить в Гойто. Ему указали на церковь, где спешно расположился полевой госпиталь. Капитан направился туда. Церковь была полна ранеными, которые лежали в два ряда на койках и матрацах, брошенных на пол. Два врача и санитары тревожно переходили от одного к другому, и отовсюду неслись приглушенные крики и стоны.

Бойня, капитан остановился и стал осматриваться, ища своего офицера.

Вдруг он услышал, как совсем близко кто-то позвал его слабым голосом:

— Синьор капитан!

Он обернулся: это был маленький барабанщик. Он лежал на койке, покрытый грубой оконной занавеской в красную и белую клетку. Руки его лежали поверх этого одеяла, он казался побледневшим и похудевшим, но его глаза сверкали, как черные алмазы.

— Ты здесь? — удивился капитан. — Молодец, ты выполнил свой долг.

— Я сделал все, что мог, — ответил маленький барабанщик.

— Так ты ранен, — продолжал капитан, окидывая взглядом соседние койки: не лежит ли поблизости его лейтенант.

— Что же делать, — продолжал мальчик. Гордость и радость оттого, что он в первый раз был ранен, придавали ему смелости, иначе он никогда не решился бы разговаривать с самим капитаном. — Я долго бежал согнувшись, но вдруг они меня увидели. Я прибежал бы на двадцать минут раньше, если бы они в меня не попали. Хорошо еще, что я сразу же встретил капитана из главного штаба, которому и передал записку. Но трудно мне было бежать после этой вражеской ласки. Я уми-

рал от жажды, боялся, что не добегу, плакал от гнева при мысли, что из-за каждой лишней минуты запоздания люди, один за другим, расстаются с жизнью. Но всё равно, я сделал всё, что мог. Я доволен. Но разрешите вам сказать, синьор капитан, что у вас на руке кровь.

Действительно, ладонь капитана была плохо перевязана, и с пальцев его руки капля за каплей стекала кровь.

— Разрешите мне потуже затянуть вам повязку, синьор капитан. Дайте мне вашу руку.

Капитан дал ему свою левую руку, а правую протянул, чтобы помочь мальчику развязать на повязке узел и затянуть по крепче, но мальчик, едва поднявшись с подушки, побледнел и должен был снова опустить на неё голову.

— Довольно, довольно,— сказал капитан, посмотрев на него и отнимая свою перевязанную руку.— Тебе надо думать о себе самом, а не о других; даже пустяки, если на них не обратить внимания, могут принять плохой оборот.

Мальчик покачал головой.

— Но ты,— продолжал капитан, пристально всматриваясь в него,— ты, должно быть, потерял много крови, если так ослабел.

— Потерял много крови...— произнес мальчик с улыбкой,— не только крови, вот смотрите,— И одним жестом он сбросил с себя одеяло.

Капитан сделал шаг назад. Левая нога мальчика была ампутирована выше колена, и обрубок был перевязан окровавленными тряпками.

В этот момент к ним подошел военный врач, маленький и толстый, в одной жилетке.

— Ах, синьор капитан,— быстро проговорил он, указывая глазами на мальчика,— вот прискорбный случай: мы эту ногу вылечили бы в мгновение ока, если бы этот сумасшедший мальчишка не разбередил так рану; а тут началось воспаление... И вот пришлось отнять ему ногу. Но он— храбрый мальчик, уж поверьте мне... Во время операции— ни одной слезы, ни одного крика! Оперируя его, я гордился, что это итальянский мальчик, честное слово! Он хороший породы, черт возьми!

И доктор побежал дальше.

Капитан нахмурил свои густые белые брови и, внимательно глядя на мальчика, снова покрыл его одеялом; потом, медленно, почти бессознательно и не отрывая от раненого глаз, поднял руку и снял свое кепи.

— Синьор капитан! — закричал изумленный мальчик. — Что вы делаете, синьор капитан? передо мной!

И тогда этот грубый солдат, который никогда не сказал ни одного мягкого слова своим подчиненным, произнес невыразимо взволнованным и нежным голосом:

— Я только капитан, а ты, ты — герой.

Потом он опустился на колени перед койкой и прижал мальчика к своему сердцу.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Вторник, 24 января

Рассказ про маленького барабанщика задел тебя за самое сердце, и тебе, должно быть, легко было писать сегодня утром сочинение на тему: «Почему вы любите Италию».

Почему я люблю Италию? Разве тебе сразу не приходят на ум сотни ответов? Я люблю Италию, потому что моя мать итальянка, потому что кровь, которая течет в моих жилах, — итальянская кровь, потому что земля, в которой погребены те, кого оплакивает моя мать и чью память чтит мой отец, — это итальянская земля, потому что город, где я родился, язык, на котором я говорю, книги, по которым я учусь, — итальянские, потому что мой брат и моя сестра, мои товарищи и весь великий народ, среди которого я живу, — итальянцы, потому что прекрасная природа, которая меня окружает, и все то, что я вижу вокруг себя, что люблю, что наблюдаю, чем любуюсь, все это итальянское.

Но ты не можешь еще вполне почувствовать эту любовь. Ты ощутишь ее в полную меру тогда, когда, уже взрослым мужчиной, возвращаясь из долгого путешествия, после дли-

тельного отсутствия, в одно прекрасное утро, облокотившись на борт парохода, увидишь на горизонте высокие голубые горы своей родины. Какая горячая волна нежности наполнит тогда слезами твои глаза и какой радостный крик вырвется тогда у тебя из самого сердца!

Ты почувствуешь эту любовь, когда, в каком-нибудь большом далеком городе, среди чужой толпы, проходя мимо незнакомого тебе рабочего, ты уловишь случайно сказанное им на твоем родном языке слово.

Ты поймешь силу этой любви по той гневной и гордой боли, от которой вся кровь бросится тебе в лицо, когда ты услышишь, как чужестранец оскорбляет твою страну.

Но с особенной силой ты почувствуешь все величие этого чувства в тот день, когда вражеский натиск бросит на твою родину огненный ураган, и ты услышишь бряцание оружия, увидишь, как юноши строятся в легионы, как отцы целуют сыновей, говоря им: «Будьте героями», — и как матери прощаются со своими детьми, крича им: «Возвращайтесь с победой!»

Ты почувствуешь священную радость этой любви, если тебе посчастливится увидеть, как в родной город возвращаются передевые полки, усталые, оборванные, страшные на вид, с торжественным блеском победы в глазах и истерзанным знаменем над головами, а за ними бесконечное шествие храбрецов с забинтованными головами и руками на перевязи.

А восторженная толпа будет бросать им цветы, посыпать им благословения, обнимать и целовать их. Ты поймешь тогда, что такое любовь к родине, Энрико, поймешь, что такое Родина.

Родина так велика и священна, что если бы я увидел, как ты возвращаешься, невредимый, из битвы за родину, ты — моя плоть и часть моей души, я знал бы, что ты сохранил свою жизнь, потому что сумел скрыться от смерти, то я, твой отец, который с такой радостью встречает твоё ежедневное возвращение из школы, я заплакал бы, увидев тебя, вся моя любовь к тебе исчезла бы и я до самой смерти ощущал бы в сердце глубокую рану.

Твой отец.

ЗАВИСТЬ

Среда, 25 января

А всё-таки лучше всех написал сочинение о родине Деросси. Напрасно Вотини считал, что первая медаль уже принадлежит ему. Вотини мог бы быть очень хорошим мальчиком, если бы не был таким фантазером и не думал бы так много о своих костюмах, но теперь, когда мы сидим с ним рядом, мне не приятно видеть, как он завидует Деросси. Он хочет во всем сравняться с Деросси, старается изо всех сил, но у него это никак не выходит, и Деросси по всем предметам знает всё в десять раз лучше.

Теперь Вотини просто кусает себе пальцы от досады. Карло Нобис тоже завидует Деросси, но он такой гордый, что не показывает этого, тогда как Вотини, наоборот, выдает себя с головой, жалуется дома на полученные отметки и говорит, что учитель несправедлив к нему. А когда на уроке Деросси отвечает, как всегда, быстро и хорошо, то Вотини хмурится, опускает голову, делает вид, что не слушает, или нарочно смеется, но смеется кисло. И так как все это знают, то когда учитель хвалит Деросси, все оборачиваются и смотрят на Вотини, который сердито ворчит что-то, а Кирпичонок строит ему «заячью мордочку». Сегодня утром, например, Вотини прямо побледнел от злости. Учитель вошел в класс и объявил результаты проверочной работы:

— Деросси, десять десятых и первая медаль.

Тут Вотини изо всей силы чихнул. Учитель, которому всё было понятно, взглянул на него и сказал:

— Вотини, смотри, чтобы в грудь твою не заползла змея зависти; она грызет мозг и разворачивает сердце.

Тут все, кроме Деросси, обернулись и стали смотреть на Вотини. Тот хотел ответить, но не мог и сидел как окаменелый, с бледным лицом. Потом, в то время как учитель продолжал вести урок, Вотини написал большими буквами на листе бумаги: «Я не завидую любимчикам, которые несправедливо получают первые награды».

Он хотел послать эту записку Деросси. Тут я увидел, что

соседи Деросси по парте что-то затеяли: они перешептывались друг с другом, а потом один из них вырезал перочинным ножом из бумаги большую медаль и нарисовал на ней черную змею. А Вотини ничего этого не замечал. Затем, когда учитель на несколько минут вышел из класса, соседи Деросси встали из-за парты, чтобы торжественно преподнести Вотини бумажную медаль. Класс замер: что-то сейчас будет!

Вотини весь задрожал, но тут Деросси крикнул:

— Дайте ее мне!

— Правильно, правильно,— поддержали его товарищи,— преподнеси ее сам этому завистнику!

Но Деросси взял медаль и разорвал ее на мелкие кусочки. Тут как раз вернулся учитель и стал продолжать урок. Я краем глаза смотрел на Вотини: он сидел красный как рак; потом он взял свою записку, медленно, как будто по рассеянности, потихоньку скомкал ее, положил себе в рот, пожевал и погодя немножко выплюнул под парту.

Когда мы уходили из школы, Вотини, который шел впереди Деросси, уронил свою промокашку; Деросси вежливо поднял ее, положил ему в ранец и помог затянуть ремень, а Вотини не смел даже поднять на него глаз.

МАТЬ ФРАНТИ

Суббота, 28 января

Нет, Вотини неисправим. Вчера на уроке в присутствии директора учитель спросил у Деросси, может ли он прочитать наизусть одно стихотворение из нашей книги для чтения. Деросси ответил, что нет. Тогда Вотини закричал: «А я могу!»— и улыбнулся, как бы назло Деросси, но в эту самую минуту в класс вбежала, запыхавшись, мать Франти, с растрепанными седыми волосами, вся мокрая от снега; она толкала перед собой своего сына, который на целую неделю был исключен из школы.

Она бросилась к директору, протягивая к нему руки и умоляя его:

— О синьор директор, окажите мне милость, будьте так добры, возьмите мальчика назад в школу! Вот уже три дня, как

он дома, и я всё время должна его прятать, ведь не дай бог отец узнает, что его выгнали, ведь он убьет сына; пожалейте меня, я не знаю, что мне делать, я прошу вас от всего своего сердца!

Директор пытался увести ее из класса, но она не уходила, продолжая просить и плакать:

— Если бы вы знали, сколько горя причинил мне этот мальчик, вы сжалились бы надо мной. Окажите мне эту милость! Я надеюсь, что он исправится. Мне уже не долго осталось жить, синьор директор, моя смерть близка, но прежде чем я умру, мне хотелось бы видеть, что он исправился, потому что... — тут она опять зарыдала, — видите ли, ведь это мой сын, и я его люблю... Но ведь вы примете его еще раз в школу, синьор директор, чтобы не случилось несчастья у нас дома, вы пожалеете несчастную мати!

И она, всхлипывая, закрыла себе лицо руками.

Франти стоял безучастный, опустив голову. Директор посмотрел на него, подумал и потом сказал:

— Франти, иди на свое место.

Услышав этот ответ, женщина перестала плакать, отняла руки от лица и начала повторять: «Спасибо, спасибо», — не давая ни слова сказать директору. Потом она пошла к двери, вытирая глаза и с жаром говоря:

— Сын мой, я полагаюсь на тебя. Мальчики, будьте с ним терпеливы. Благодарю вас, синьор директор, вы сделали доброе дело. Веди себя хорошо, сынок мой. До свидания, мальчики. Благодарю вас, синьор учитель. Простите, пожалуйста, бедную мать.

В дверях она еще раз умоляюще взглянула на своего сына и вышла, бледная, сгорбившаяся, с трясущейся головой, кутаясь в шаль, которая тащилась за ней следом, и мы слышали, как она кашляла на лестнице. Директор пристально посмотрел на Франти и среди всеобщего молчания страшно серьезно сказал ему.

— Франти, ты убиваешь свою мать!

Мы все обернулись и посмотрели на Франти, который улыбался своей гадкой улыбкой.

Февраль

ПРЕКОССИ ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ

Суббота, 4 февраля

Сегодня утром пришел раздавать нам награды сам старший инспектор, синьор с белой бородой, весь в черном. Он вошел вместе с директором перед самым концом занятий и сел рядом с учителем. Он задал ряд вопросов нескольким ученикам, а потом вручил первую медаль Деросси. Но прежде чем дать кому-нибудь вторую, он внимательно выслушал то, что сказали ему вполголоса учитель и директор.

Мы все спрашивали себя: кто же получит вторую награду?

Наконец старший инспектор громко произнес:

— Вторую медаль заслужил на этой неделе ученик Пьетро Прекосси; он заслужил ее за домашние задания, за ответы на уроках, за чистописание, за поведение, *за* всё.

Мы повернулись в сторону Прекосси, так как все были рады за него. Он встал, страшно смущенный, и не знал, что ему делать.

— Поди сюда,— сказал старший инспектор.

Прекосси вышел из-за парты и подошел к столу учителя. Старший инспектор внимательно посмотрел на его бледное лицо и хрупкую фигурку, одетую в длинное не по росту платье с подвернутыми рукавами, и заглянул в его добрые и грустные глаза. Эти глаза, правда, избегали инспекторского взгляда, но в них всё же можно было прочесть историю долгих страданий.

Потом инспектор ласково сказал, прикалывая медаль на грудь мальчика:

— Я даю тебе эту медаль, Прекосси, так как ты больше чем кто бы то ни было достоин носить ее. Я даю ее тебе не только за твои способности и старание, я даю ее тебе за твое доброе сердце, за твой бодрый дух, за то, что ты честный и хороший сын.

— Не правда ли,— обернулся он к классу,— Прекосси заслужил эту медаль?

— Да, да,— ответили мы все хором.

Прекосси дернулся, как будто глотая что-то, повернулся и посмотрел на нас своими ласковыми глазами, полными беспредельной благодарности.

— Теперь иди, мой мальчик,— прибавил инспектор,— и продолжай быть таким же хорошим.

Занятия кончились. Мы первыми вышли из нашего класса, и как вы думаете, кого мы увидели в зале, у самого входа? Отца Прекосси, кузнеца; он был, как всегда, бледен, с искаженным лицом, волосы спускались ему на глаза, берет был надет криво, и он плохо держался на ногах. Наш учитель сразу же увидел его и сказал что-то на ухо инспектору.

Тот быстро нашел Прекосси, взял его за руку и подвел к отцу. Мальчик дрожал от страха.

— Ведь вы отец этого мальчика?— спросил инспектор у кузнеца так приветливо, как будто они были старыми друзьями. И не дожидаясь ответа, прибавил:

— Поздравляю вас. Видите, он заслужил вторую медаль, он второй среди пятидесяти четырех учеников; он заслужил эту медаль за сочинения, за арифметику, за всё. Это мальчик с большими способностями и с добrouй волей, и он многого добьется в жизни. Это хороший мальчик, которого все любят и уважают; вы можете гордиться им, уверяю вас.

Кузнец, который слушал с разинутым ртом, внимательно посмотрел на инспектора и директора, а потом перевел глаза на своего сына, который стоял перед ним дрожа, с опущенными глазами. В эту минуту кузнец как будто впервые вспомнил и понял, как он мучил этого ребенка, и с какой добротой, с какой



героической выдержкой тот претерпевал эти мучения. На лице отца появилось сначала какое-то тупое удивление, потом хмурая боль и, наконец, какая-то грубая и грустная нежность. Вдруг он резким движением обнял голову сына и прижал ее к своей груди. Мы все прошли мимо них. Я пригласил Прекосси прийти завтра ко мне вместе с Гарроне и Кросси. Мальчики, прощаясь с Прекосси, хлопали его по плечу, некоторые трогали его медаль, и каждый говорил ему что-нибудь хорошее. А отец с удивлением смотрел на нас, продолжая прижимать к груди голову своего плачущего сына.

ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Воскресенье, 5 февраля

Когда Прекосси дали медаль, то мне стало совестно. А я-то еще ни разу не заслужил награды. Я мало занимаюсь, я недоволен собой, и мой учитель, отец и мать тоже недовольны.

И играть мне теперь стало не так интересно, как раньше, когда я много и охотно учился, а потом вскакивал и бежал к своим игрушкам с такой радостью, как будто не брал их в руки целый месяц. И за стол вместе со всеми я уже не усаживаюсь с тем веселым чувством, как прежде. У меня как будто какая-то тень лежит на душе, как будто я слышу внутри себя голос, который говорит мне: *некорошо, некорошо*.

Вечером я вижу, как по площади идут мальчики, возвращающиеся с работы вместе со взрослыми рабочими. Усталые, но веселые, они торопятся, чтобы скорей попасть домой ужинать; они громко говорят, смеются и хлопают друг друга по спине руками, черными от угля или белыми от известки. Я думаю о том, что они работали с рассвета до самого вечера. А как много мальчиков, еще моложе меня, которые целыми днями стоят на крышах, у печей, около машин, в воде, под землей, и при этом едят один хлеб, и то не досыта. И мне стыдно, что я за все это время только кое-как исписал каракулями, без всякого старания и охоты, каких-то четыре странички. Да, я недоволен собой, недоволен. Я хорошо вижу, что мой отец хму-

рится и хотел бы поговорить со мной, но ему неприятно это, и он ждет...

А ведь я вижу, как много работает он сам. Ведь всё, что меня окружает в нашем доме, всё, чего я касаюсь, что меня одевает, кормит, учит и развлекает, всё это — плоды его работы, а я ничего не делаю!

Всё это стоило моему отцу мыслей, лишений, неприятностей, труда, а я не тружусь!

.Нет, это слишком нехорошо и слишком для меня горько. Я хочу начать с сегодняшнего же дня, и возьмусь за учение, как Старди, скжав кулаки и стиснув зубы. Вечером я буду гнать от себя сон, утром быстро вскакивать с постели и заниматься, не давая себе отдыха. Я буду безжалостно бороться с ленью, работать, чего бы это мне ни стоило, даже если заболею от занятий. Нет, надо сразу кончить это вялое и ленивое прозябанье, которое унижает меня и огорчает остальных. За работу, Энрико! За работу от всего сердца и изо всех сил. Работа сделает для меня отдых приятным, игру — радостной и обеденные часы — веселыми.

Работа возвратит мне добрую улыбку учителя и ласковый поцелуй отца. За работу!

ИГРУШЕЧНЫЙ ПОЕЗД

Пятница, 10 февраля

Вчера Прекосси и Гарроне были у меня. Мне кажется, что если бы ко мне пришли два молодых принца, я не встретил бы их с большей радостью. Гарроне был у меня в первый раз, потому что он дичится, как медведь, и ему стыдно того, что он такой большой и всё еще в третьем классе.

Когда они позвонили, мы всей семьей пошли открывать им. Кросси не пришел, так как к нему приехал, наконец, после шести лет отсутствия, отец из Америки.

Мама сразу же поцеловала Прекосси. Отец представил ей Гарроне, со словами:

— А вот и Гарроне! Это не только хороший мальчик, это честный и благородный человек.

Гарроне опустил свою большую, коротко остриженную голову и улыбнулся мне украдкой. На груди у Прекосси сверкала его медаль. Он счастлив, потому что отец его снова взялся за работу: вот уже пять дней, как он не пьет, требует, чтобы сын был все свободное время с ним в кузнице, и стал выглядеть совсем другим человеком.

Мы начали играть. Я вытащил все свои игрушки. Прекосси как зачарованный смотрел на маленькие вагончики и заводной паровозик. Он никогда раньше не видел таких игрушек и не мог отвести глаз от красных и желтых вагончиков. Я дал ему ключик для завода, он стал на колени и так увлекся игрой, что не поднимал даже головы.

Я никогда не видел его таким счастливым. По всяческому поводу он говорил: «Простите, пожалуйста, простите, пожалуйста», — и делал нам знаки рукой, чтобы мы не останавливали машину. Он брал и снова ставил вагончики на место так осторожно, как будто они были из стекла, боялся дохнуть на них, смахивал с них каждую пылинку, рассматривал их со всех сторон и молча улыбался. Мы стояли кругом и смотрели на него, на его хрупкую шею, на уши, которые я однажды видел окровавленными, на курточку с отвернутыми рукавами, на торчащие из этих рукавов худенькие, как у больного, руки, которые столько раз поднимались, чтобы защитить лицо от ударов. В эту минуту я ему с радостью отдал бы все свои игрушки и все мои книги, я отдал бы ему последний кусок хлеба, я снял бы с себя куртку, чтобы одеть его.

Я с радостью подарил бы ему этот поезд, но как сделать это без разрешения отца?

В эту минуту я почувствовал, как в руку мне кто-то вложил клочок бумаги. Я опустил глаза, — мой отец написал карандашом: «Прекосси нравится твой поезд. У него нет игрушек. Не подсказывает ли тебе твое сердце, что нужно сделать?»

Тогда я схватил обеими руками паровоз и вагончики и протянул их Прекосси, говоря:

— Возьми, это тебе.

Он посмотрел на меня, но не понял.

— Это тебе,— повторил я,— я дарю это тебе.

Тогда он с еще большим удивлением посмотрел на моих родителей и спросил:

— Но за что же?

На это ответил ему отец:

— Энрико дарит себе этот поезд, потому что он твой друг, потому что он любит тебя.., чтобы отпраздновать твою медаль.

Тогда Прекосси робко спросил:

— И я могу унести его домой?

— Ну конечно,— ответили ему все.

Он уже был у двери, но всё не решался уйти. Он был счастлив.

Гарроне завернул ему поезд в носовой платок, и когда он наклонился, я слышал, как хрустели сухари, которыми были у него полны карманы.

— Теперь ты,— попросил Прекосси,— приходи к нам в мастерскую посмотреть, как работает мой отец, и я подарю тебе гвоздей.

Мама всунула в петлицу Гарроне маленький букетик для его мамы. Гарроне, не поднимая голову, пробурчал: «Спасибо»,— но в глазах его так и сияла благородная и добрая душа.

ГОРДОСТЬ

Суббота, 11 февраля

Подумать только, что Кэрло Нобис нарочно чистит себе руки, если Прекосси, пройдя мимо, коснется его. Нобис воплощенная спесь, и всё только потому, что его отец — богач. Но ведь у Деросси тоже богатый отец. Нобис хотел бы занимать отдельную парту, он боится, что все его запачкают, на всех смотрят сверху вниз, и на губах у него всегда презрительная улыбка. Беда, если случайно заденешь его ногой, когда мы строимся в пары. Из-за всякого пустяка он бросает тебе оскорбления прямо в лицо или грозит вызвать в школу своего отца. И это после того, как его отец уже задал ему хорошую головомойку за то, что он обозвал сына угольщика нищим!



Я никогда не встречал такого высокомерного школьника. Зато никто с ним не разговаривает, никто не прощается с ним, когда он уходит, и не подсказывает ему, когда он не знает урока. Он тоже никого не любит и делает вид, что всех презирает, особенно Деросси, за то, что он первый, и Гарроне, за то, что все его любят. Но Деросси не обращает внимания на надутую физиономию Нобиса, а Гарроне, когда ему передают, что Нобис о нем рассказывает всякие гадости, отвечает: «Его гордость так глупа, что не заслуживает даже удара по голове».

Однажды Коретти, когда Нобис издевался над его беретом из кошачьего меха, сказал ему:

— Поди-ка поучись у Деросси, как благородно должен вести себя настоящий синьор!

Вчера Нобис пожаловался учителю, что калабриец толкнул его ногой.

— Ты это сделал нарочно? — спросил его учитель.

— Нет, синьор, — честно ответил тот.

Тогда учитель обратился к Нобису:

— Вы слишком уж обидчивы, Нобис!

А Нобис ему, со своим заносчивым видом:

— Я скажу об этом своему отцу.

Тут учитель вспыхнул:

— Ваш отец ответит, что вы сами виноваты, как уже было однажды. И кроме того, в школе один только учитель имеет право распоряжаться и наказывать. — Но потом он прибавил более мягким тоном. — А хорошо было бы, Нобис, если бы вы переменили свое обращение с товарищами; попробуйте быть с ними добрым и вежливым. Посмотрите, здесь у нас сыновья и рабочих и синьоров, богатых и бедных, и все друг друга любят и живут, как братья. Почему бы и вам не держать себя так, как другие? Вы легко добились бы любви ваших товарищей, и вам

самому было бы тогда приятнее. Ну что же, разве вы ничего не хотите мне ответить?

Нобис, который стоял и слушал со своей обычной презрительной улыбкой, холодно возразил:

— Нет, синьор.

— Ну тогда садитесь,— сказал учитель.— Мне жаль вас. Вы — мальчик без сердца.

Казалось, что разговор на этом и кончился, но Кирпичонок, который сидит на первой парте, повернул свою круглую голову к Нобису, который сидит на последней, и сстроил ему такую чудную и смешную «заячью мордочку», что весь класс громко расхохотался.

Учитель сделал Кирпичонку замечание, но сам вынужден был отвернуться, чтобы скрыть от мальчиков улыбку. Нобис тоже улыбнулся, но довольно-таки кисло.

РАНЕНЫЙ РАБОЧИЙ

Понедельник, 13 февраля

Нобис и Франти — достойная пара. И тот и другой остались совершенно равнодушными во время события, которое произошло сегодня утром у нас на глазах..

Мы вышли с моим отцом из школы и остановились посмотреть, как малыши из второго класса, опустившись на колени, терли лед своими накидками и беретами, чтобы он стал еще более скользким и гладким. Вдруг мы увидели в глубине улицы толпу, которая быстро приближалась к нам. У людей были серьезные и как будто испуганные лица, и они говорили вполголоса. В центре шли трое полицейских, а вслед за ними двое мужчин несли носилки.

Мальчики сбегались со всех сторон. Толпа приближалась. На носилках лежал человек с бледным лицом, голова его свесивалась на одну сторону, волосы были спутаны и окровавлены, и кровь текла у него изо рта и из ушей. Рядом с носилками шла женщина с ребенком на руках. Она, как безумная, всё время кричала:

— Он умер! Он умер! Он умер!

Вслед за женщиной шел мальчик с сумкой под мышкой и плакал.

— Что случилось? — спросил мой отец.

Один из стоявших рядом людей ответил, что это каменщик, который во время работы упал с четвертого этажа. Люди с носилками на минуту остановились. Многие в ужасе отворачивались. Я видел, как учительница с красным пером на шляпке держивала учительницу первого класса, которая почти потеряла сознание.

В ту же минуту я почувствовал, что кто-то толкнул меня под локоть, — это был наш Кирпичонок, бледный и весь дрожащий. Он наверное вспомнил в эту минуту о своем отце, и я тоже подумал о нем. Я-то сижу в школе со спокойным сердцем, зная, что мой отец дома, за своим столом, и не подвергается никакой опасности. Но ведь многие из моих товарищей всё время помнят, что их отцы работают высоко на мосту или у колес громадной машины и что одно движение, один неверный шаг могут стоить им жизни! Кирпичонок смотрел, смотрел и дрожал всё сильней и сильней, так что мой отец заметил это и сказал:

— Иди домой, мальчик, возвращайся сейчас же к своему отцу, и ты увидишь, что он здоров и благополучен, иди же!

И Кирпичонок пошел, оборачиваясь на каждом шагу.

Тем временем толпа снова двинулась, и женщина опять закричала раздирающим душу голосом:

— Он умер! Он умер! Он умер!

— Нет, нет, он не умер, — говорили ей со всех сторон, но она ничего не слушала и продолжала рвать на себе волосы.

Вдруг я услышал чьи-то возмущенные слова: «А ты еще смеешься!» — и увидел, что какой-то бородатый мужчина смотрел прямо в лицо Франти, который не переставал улыбаться, и потом дал ему такую пощечину, что берет слетел с него на землю.

— Шапку долой, негодяй, — сказал незнакомец, — когда мимо проносят раненого рабочего!

УЗНИК

Пятница, 27 февраля

Это самое удивительное из всего, что случилось у нас за весь год! Вчера утром мой отец взял меня с собой в окрестности Монкальери; посмотреть дачу, которую мы хотим снять на лето, так как в этом году мы не поедем в Кьери¹. Оказалось, что человек, у которого были ключи от дачи и который служил секретарем у ее владельца, был раньше учителем. Он показал нам дом, а потом провел нас в свою комнату, где дал напиться. Там на столике среди стаканов стояла причудливо вырезанная деревянная чернильница в виде конуса.

Заметив, что мой отец смотрит на нее с интересом, учитель сказал:

— Эта чернильница мне очень дорога; если бы вы только знали, синьор, историю этой чернильницы! — И он рассказал нам следующее.

Несколько лет тому назад он был учителем в Турине, и целую зиму ему пришлось давать уроки заключенным в судейской тюрьме. Уроки проходили в тюремной церкви. Это было круглое помещение, где в высоких голых стенах были проделаны маленькие квадратные окошечки с двумя перекрещивающимися железными прутьями, и за каждым из этих окошечек находилась крошечная камера.

Учитель давал урок, расхаживая по холодной и темной церкви, а ученики стояли, прижавшись к окошечкам, упирая тетради в железные прутья, и в темноте видны были только их лица, худые и хмурые, с всклокоченными бородами и неподвижными глазами.

Среди них был один, номер 78, который оказался особенно старательным учеником. Он много занимался и смотрел на учителя глазами, полными уважения и благодарности. Заключенный был еще молодой человек, с черной бородой, и выглядел он скорее несчастным, чем злодеем. Он работал краснодеревцем и в порыве гнева, раздраженный придирками, бросил рубанком

¹ Монкальери и Кьери — небольшие города недалеко от Туринса.

в своего хозяина и смертельно ранил его в голову. За это он был приговорен к долголетнему тюремному заключению. В три месяца он научился читать и писать, постоянно был занят чтением, и по мере того, как учился, он, казалось, становился всё лучше и всё больше раскаивался в своем проступке.

Однажды в конце урока он сделал знак учителю, чтобы тот подошел к его окошечку, и с грустью сообщил ему, что на следующее утро его отправляют из Туринской тюрьмы. Прощаясь с учителем, узник взволнованным и робким голосом попросил разрешения коснуться его руки.

Учитель протянул ему руку, которую тот поцеловал, восхлипнув: «Спасибо, спасибо!» — и исчез.

С тех пор учитель не видел больше этого узника. Прошло шесть лет.

— Я совсем забыл об этом несчастном,— продолжал рассказывать учитель,— как вдруг вчера утром ко мне пришел незнакомец с большой черной, уже слегка поседевшей бородой, бедно одетый и сказал мне: «Это вы, синьор учитель такой-то?» — «А вы кто такой?» — спросил я его. «Я заключенный номер 78, — ответил он. — Вы научили меня читать и писать шесть лет тому назад; если вы припомните, то на последнем уроке вы протянули мне руку... Я отбыл свой срок, и вот я здесь... Я прошу вас сделать мне милость и принять от меня в подарок одну вещичку, которую я смастерили в тюрьме. Возьмите ее на память обо мне, синьор учитель». Я не мог вымолвить ни слова. Он подумал, что я не хочу принять его подарка, и посмотрел на меня, как бы говоря: «Значит, шесть лет мучений не достаточно для того, чтобы сделать мои руки чистыми». В его глазах было столько грусти, что я протянул руку и взял подарок. Вот он.

Мы принялись рассматривать чернильницу. Ее, должно быть, вырезали острейм гвоздя, с бесконечным терпением. На ней была выточена тетрадь, поперек которой лежало перо и шла надпись: «Моему учителю.— На память о номере 78. Шесть лет!» А ниже, более мелко: «Учись и надейся»...

Учитель больше ничего не прибавил к своему рассказу, и

мы ушли. Но всю дорогу от Монкальери до Турине у меня из головы не выходил узник, прижимающийся лицом к окошечку, его прощанье с учителем и скромная чернильница, которую он выточил в тюрьме и которая имела такой большой тайный смысл. Ночью я видел их во сне и сегодня утром всё еще вспоминал о них... не думая о том сюрпризе, который ожидал меня в школе.

Как только я уселся на свое новое место рядом с Деросси и записал ежемесячную проверочную задачу по арифметике, так рассказал своему соседу об узнике и о чернильнице, и о том, что на чернильнице были выточены тетрадь и перо и какая на ней была сделана надпись. «Шесть лет!» — при этих словах Деросси так и подскочил, а потом стал пристально смотреть то на меня, то на Кросси, сына зеленщицы, который сидел на парте перед нами, спиной к нам, погруженный в решение задачи.

— Тише, — шепнул мне Деросси, беря меня за руку. — Разве ты не знаешь? Третьего дня Кросси сказал мне, что он случайно видел деревянную чернильницу в руках у своего отца, только что вернувшегося из Америки, чернильницу, в виде конуса, выточенную от руки, с тетрадью и пером; это, очевидно, та же самая чернильница... а шесть лет... Кросси говорил, что его отец был в Америке, а он на самом деле был в тюрьме. Кросси был еще совсем маленьким, когда отец его совершил преступление, и матери удалось обмануть своего сына, он ничего не знает. Так что смотри, ни пол слова об этом!

Я онемел от изумления и не мог отвести глаз от Кросси. Тогда Деросси решил задачу и передал ее под партой Кросси. Потом он подарил ему лист бумаги. А когда учитель дал Кросси ежемесячный рассказ, под заглавием «У постели больного отца», то Деросси взял его из рук Кросси и сказал, что перепишет сам. Он подарил также Кросси несколько перышек, всё время похлопывая его по плечу, и взял с меня честное слово, что я ничего никому не скажу.

А когда мы выходили из школы, Деросси торопливо шепнул:

— Вчера отец Кросси приходил за ним, сегодня он, очевидно, тоже придет: делай то же, что буду делать я.

Мы вышли на улицу. Отец Кросси был уже тут. Он стоял немного в стороне. Это был мужчина с черной, седеющей бородой, с бледным и задумчивым лицом, плохо одетый. Деросси крепко пожал руку Кросси, так, чтобы его отец это видел, и громко сказал:

— До свидания, Кросси!

Я сделал то же самое.

Но одновременно Деросси густо покраснел, и я тоже. Отец Кросси пристально посмотрел на нас. Глаза его глядели ласково, но вместе с тем в них сквозили тревога и подозрение, от которых у нас сжалось сердце.

У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО ОТЦА

(ежемесячный рассказ)

В один дождливый мартовский день мальчик, одетый под деревенски, промокший и грязный, с узелком под мышкой, переступил порог больницы, основанной когда-то неаполитанскими монахами, подал письмо и спросил о своем отце. У маленького крестьянина было красивое продолговатое лицо, смуглое, но бледное, задумчивые глаза и полные полуоткрытые губы, из-за которых сверкали белые зубы. Он пришел из деревни, лежащей недалеко от Неаполя¹. Его отец, который год тому назад уехал искать работу во Францию, недавно вернулся в Италию, высадился в Неаполе, но внезапно заболел и едва успел написать своей семье несколько строк, чтобы сообщить, что он приехал и попал в больницу. Его жена, получив это известие, пришла в отчаяние; она не могла отлучиться из дома, где у нее была больная дочь и маленький ребенок, и поэтому послала в Неаполь своего старшего сына, снабдив его небольшой суммой денег. Он должен был ухаживать за отцом, за своим «батей», как говорил он.

В этот день мальчик прошел пешком десять миль. Привратник взглянул на письмо, позвал служителя и велел ему отвести ребенка к отцу.

¹ Неаполь — один из красивейших городов Южной Италии.

— Как твоя фамилия? — спросил служитель.

Мальчик, дрожа от страха, что сейчас услышит страшное известие, назвал свою фамилию.

Служитель не помнил такой фамилии.

— Это старый рабочий, приехавший из-за границы? — спросил он.

— Да, мой отец рабочий, — ответил мальчик, всё больше и больше волнуясь, — но не такой еще старый. Он приехал из-за границы, это верно.

— А когда он поступил в больницу? — продолжал спрашивать служитель.

Мальчик заглянул в письмо:

— Кажется, пять дней тому назад.

Служитель немного подумал, потом, вспомнив что-то, сказал:

— Ну да, четвертая палата, последняя койка.

— Он очень болен? Что с ним? — с тревогой спросил мальчик.

Служитель посмотрел на него, не отвечая, потом произнес:

— Пойдем со мной.

Они поднялись по двум лестничным маршам, прошли длинный коридор и оказались перед открытой дверью; за ней виднелась палата с двумя рядами коек.

— Иди за мной, — повторил служитель, входя в палату.

Маленький крестьянин собрался с духом и пошел за ним, с опаской поглядывая направо и налево, на бледные, истощенные лица больных. Некоторые из них лежали с закрытыми глазами и казались мертвыми, другие смотрели в пространство широко открытыми неподвижными глазами, как будто были без сознания. Некоторые жалобно стонали, как дети. В палате стоял полумрак, воздух был насыщен острым запахом лекарств. Две сестры ходили по палате с пузырьками в руках. Дойдя до конца палаты, служитель остановился у изголовья одной из коек, отдернул занавеску и сказал:

— Вот твой отец.

Мальчик зарыдал, выронив свой узелок, припал головой к

плечу больного и взял неподвижно лежавшую поверх одеяла руку.

Больной не шевельнулся.

Мальчик встал, снова взглянул на своего отца и зарыдал еще громче. Тот посмотрел на сына долгим взглядом и, казалось, узнал его, но губы его не раскрылись.

Бедный «батя», как он изменился! Его совсем нельзя было узнать! Волосы его поседели, выросла борода, лицо распухло и стало багрового цвета, кожа была натянута и блестела, глаза запухли, губы раздулись, весь он страшно изменился. У него оставались прежними только лоб и изгиб бровей. Он очень тяжело дышал.

— Батя, милый батя,— говорил мальчик,— это я, разве вы меня не узнаёте? Ведь это я, Чичильо, ваш Чичильо... Я пришел из нашей деревни, меня послала мама. Посмотрите на меня хорошоенько. Неужели вы меня не узнаёте?

Но больной, пристально посмотрев на него, снова закрыл глаза.

— Батя, батя, что с вами? Я ваш сын, ваш Чичильо.

Больной не двигался и продолжал тяжело дышать. Мальчик, плача, взял скамейку, сел на нее и стал ждать, не отрывая глаз от лица больного.

«Когда придет доктор,— думал Чичильо,— он мне объяснит, что случилось». И он погрузился в грустные мысли — стал вспоминать своего милого отца, припомнить день разлуки, последнее прощанье на пароходе, надежды, которые вся семья возлагала на эту поездку, и отчаянье матери, когда она получила последнее письмо. Он думал также о смерти, представляя себе своего отца мертвым, видел мать в черном платье и семью, обреченную на бедность.

Так прошло много времени. Вдруг чья-то рука легко коснулась его плеча, и он вздрогнул. Это была сестра.

— Что с моим отцом? — быстро спросил ее мальчик.

— Это твой отец? — ласково спросила сестра.

— Да, это мой отец, я пришел к нему из деревни, что с ним?

— Не падай духом, дитя мое,— сказала сестра,— сейчас сюда придет доктор,— и она ушла, не прибавив ни слова.

Через полчаса Чичильо услышал звон колокольчика; в палату вошел доктор со своим помощником. За ними следовали сестра и служитель. Они начали обход палаты, останавливаясь у каждой койки. Мальчику это ожидание казалось вечностью, и при каждом шаге доктора у него захватывало дыхание. Наконец они подошли к соседней койке. Доктор был высокий, сутулый старик со строгим лицом. Не успел он отойти от соседней койки, как маленький посетитель вскочил на ноги, а когда врач подошел, Чичильо снова принялся плакать.

Доктор посмотрел на него.

— Это сын больного,— сказала сестра,— он пришел сегодня утром из деревни.

Доктор положил руку на плечо мальчика, потом наклонился над больным, пощупал ему пульс, коснулся лба и задал несколько вопросов сестре, на которые та ответила:

— Ничего нового.

Доктор подумал, потом сказал:

— Продолжайте то же самое.

Тогда мальчик набрался мужества и спросил со слезами в голосе:

— Что с моим отцом?

— Мужайся, паренек,— ответил доктор, снова кладя руку ему на плечо.— У него рожистое воспаление на лице. Это тяжелая болезнь, но еще есть надежда. Ухаживай за ним. Твое присутствие, может быть, окажет на него хорошее действие.

— Но он не узнаёт меня!— в отчаянье воскликнул Чичильо.

— Он узнает тебя... может быть, даже завтра. Будем надеяться, не падай духом.

Мальчику хотелось бы поподробней расспросить доктора, но он не посмел, и доктор пошел дальше.

И вот потянулись дни у постели больного отца. Сын не мог оказать ему никакой серьезной помощи, но он поправлял одеяло, пожимая ему руку, отгонял мух. Он наклонялся к нему при каждом его стоне, а когда сестра приносila питье, он брал из ее рук стакан и ложечку и сам поил больного. Тот несколько раз взглядал на мальчика, но не подавал никакого признака, что узнаёт его, только взгляд его всё чаще и чаще останавли-

вался на ребенке, особенно когда тот подносил платок к глазам.

Прошел первый день. Ночь маленький крестьянин проспал на двух скамейках в углу палаты, а утром снова начал ухаживать за больным. В этот день ему показалось, что в глазах у того появился какой-то проблеск сознания. Казалось, что как бы в ответ на ласковые слова мальчика в зрачках больного на секунду мелькнуло какое-то неясное чувство благодарности, а один раз он слабо пошевелил губами, как будто хотел что-то сказать.

Больной ненадолго засыпал, а просыпаясь, каждый раз искал глазами сына. В этот день доктор два раза подходил к нему и отметил небольшое улучшение, а вечером, когда мальчик поднес стакан к губам больного, ему показалось, что на этих распухших губах мелькнуло что-то вроде улыбки. Тут Чичильо начал понемногу успокаиваться и надеяться. Думая, что отец, может быть, хотя и смутно, но всё-таки слышит его слова, он стал говорить с ним и подолгу рассказывал ему о маме, о маленьких сестрах, о возвращении домой, и горячо, и ласково упрашивал его не падать духом. И хотя мальчик часто сомневался, понимает ли его больной, он продолжал говорить, думая, что если не все его слова доходят до сознания отца, то всё же он как будто бы с удовольствием слушает его голос.

Так прошли второй день, третий, четвертый... Легкие улучшения всё время чередовались с внезапными ухудшениями. Чичильо был так поглощен своими заботами, что второпях едва успевал съесть кусок хлеба с сыром, который два раза в день приносила ему сестра. Он почти не видел того, что происходило кругом, он не замечал вокруг себя той печальной больничной жизни, которая в другое время привела бы его в ужас. Проходили часы и дни, а он всё сидел около своего «бати», заботливый, полный участия, дрожа при каждом его вздохе. То в душе его начинала петь надежда, то сердце его цепенело от отчаяния.

На пятый день больному стало хуже.

Доктор, посмотрев на него, только покачал головой, как бы в знак того, что всё кончено, и Чичильо с громкими рыданиями

упал на свою скамейку. Его утешало только одно: ему казалось, что к больному, несмотря на ухудшение, медленно и по немногу возвращается сознание. Больной всё пристальнее и всё с возрастающей нежностью смотрел на мальчика, не хотел принимать питье или лекарство ни от кого другого и всё чаще силился пошевелить губами, как будто желая сказать что-то. Иногда его губы складывались так выразительно, что сын, охваченный неожиданной надеждой, порывисто сжимал его руку и говорил почти радостно:

— Держись, батя, держись, ты выздоровеешь, и мы уедем отсюда, вернемся домой к маме, потерпи еще немножко!

Было четыре часа пополудни, и мальчик был как раз охвачен таким порывом нежности и надежды, как вдруг шаги у двери в палату и произнесенные громким голосом два слова: «Прощайте, сестрица!» — заставили его с приглушенным криком вскочить на ноги.

В ту же минуту в палату вошел человек с большим узлом в руках; за ним шла сестра. Мальчик испустил громкий крик и как зажарованный застыл на месте. Человек обернулся, взглянул на него и, закричав: «Чичильо!» — бросился к мальчику.

Тот, задыхаясь, упал в объятия своего отца. Сбежались сёстры, служители, помощник доктора — и остановились пораженные. Мальчик не мог произнести ни слова.

— О мой Чичильо,— говорил отец, снова и снова целуя своего сына,— Чичильо, сынок мой, как же это случилось? Тебя привели к постели другого,— добавил он, пристально посмотрев на больного.— А я-то был в отчаянье, что тебя нет, после того как мама написала мне, что послала тебя сюда. Бедный Чичильо! Сколько же дней ты уже здесь? Как это получилось такая путаница? А я дешево отдался, и вот опять твердо стою на ногах. Ну, а как мама? А Кончетелла? А малютка как поживает? Ты видишь, я уже ухожу из больницы, идем вместе. О боже мой! Как же это произошло?

Мальчик с трудом выдавил из себя несколько слов, чтобы рассказать о семье.

— О как я счастлив! — пробормотал он.— Какие страшные дни я пережил!

И он без конца обнимал и целовал своего отца, однако не трогался с места.

— Идем же,— повторил его отец,— мы сегодня вечером уже будем дома.— И он тянул сына за собой.

Но тот обернулся и посмотрел на своего больного.

— Ну, идешь ты или нет?— с удивлением спросил его отец.

Мальчик еще раз оглянулся на своего больного, который, открыв глаза, пристально смотрел на него.

Тогда из груди Чичильо вырвался целый поток слов:

— Нет, батя, подожди... Сейчас... я не могу. Вот этот старик... Я здесь уже пять дней. Он всё время смотрит на меня. Ведь я думал, что это ты, и любил его. Он смотрит на меня, я даю ему пить, он хочет, чтобы я всё время был около него... но теперь ему уже совсем плохо, так что ты иди... а я не могу... у меня не хватает духа... мне слишком тяжело... Я вернусь домой завтра, позволь мне остаться здесь еще немногоЯ... Нехорошо, если я его брошу, посмотри, как он глядит на меня, я не знаю, кто он, но он полюбил меня... Позволь мне остаться здесь, милый батя!

— Молодец, малыш!— воскликнул помощник доктора.

Отец стоял, в смущении глядя на своего сына. Потом посмотрел на больного и спросил:

— Кто он?

— Это крестьянин, как и вы,— ответил помощник доктора.— Он вернулся из-за границы и попал в больницу в тот же день, что и вы. Его принесли сюда без сознания, и никто ничего не мог о нем сказать. Должно быть, где-нибудь далеко у него есть семья, дети. Он, очевидно, принял вашего сына за одного из своих.

Больной не сводил глаз с мальчика.

Тогда отец сказал Чичильо:

— Оставайся.

— Ему недолго придется здесь оставаться,— пробормотал помощник доктора.

— Оставайся,— повторил отец.— У тебя доброе сердце... А я пойду теперь домой, чтобы успокоить маму. Вот тебе деньги на расходы. Будь здоров, мой славный малыш, до свиданья.

Он поцеловал сына, пристально посмотрел на него, еще раз поцеловал в лоб и ушел. Мальчик вернулся к постели, и больной, казалось, обрадовался и успокоился.

Чичильо снова принял за свои обязанности сиделки, правда, уже не плача, но с той же заботливостью и с тем же терпением, как и раньше.

Он так же давал больному пить, поправлял одеяло, гладил его по руке, ласково с ним разговаривал, подбадривая его. Мальчик ухаживал за больным весь этот день и всю ночь и остался с ним и на следующий день. Но старику становилось всё хуже: он с трудом дышал и начал метаться.

На вечернем обходе доктор сказал, что он не переживет ночи. Тогда Чичильо удвоил свои заботы, ни на одну минуту не отводя от него глаз. А больной всё смотрел на него и время от времени с огромным усилием шевелил губами, как будто хотел сказать что-то, и порой выражение необыкновенной нежности мелькало в его глазах, которые всё больше заплывали и мутнели.

В эту ночь мальчик сидел около него до тех пор, пока не увидел, что забелели в окнах первые проблески рассвета и не пришла сестра.

Она приблизилась к койке, окинула взглядом больного и ушла быстрыми шагами. Через несколько минут она вернулась вместе с доктором и служителем, который нес фонарь.

— Он умирает,— сказал доктор.

Чичильо схватил руку больного. Тот открыл глаза, взглянул на него и закрыл их снова.

Но в это мгновение мальчику показалось, что пальцы больного сжались.

— Он пожал мне руку! — воскликнул Чичильо.

Доктор наклонился над койкой, потом выпрямился. Сестра сняла со стены распятие.

— Он умер! — закричал мальчик.

— Ступай теперь, сын мой,— сказал ему доктор.— Ты закончил свое священное дело. Ступай и будь счастлив, ты этого заслуживаешь. Прощай.

Сестра отошла на минуту, но сейчас же вернулась с букетом

тиком фиалок, который стоял в стакане с водой на окне, и дала его мальчику со словами:

— У меня нет ничего больше. Возьми это на память о больнице.

— Спасибо,— ответил Чичильо, одной рукой беря букетик, а другой вытирая глаза,— но мне придется так долго идти пешком, что цветы завянут.

И, развязав букетик, он разбросал фиалки по постели, говоря:

— Я лучше оставлю их здесь этому несчастному. Спасибо, сестрица, спасибо, синьор доктор.— Потом, повернувшись к постели:— Прощай...— И пока он искал в мыслях, каким же именем назвать его, из самого сердца его поднялось к губам то нежное имя, которым он называл его в течение пяти дней:— Прощай, бедный батя!

Потом он взял под мышку свой узелок и медленными шагами, разбитый усталостью, вышел.

Занималась заря.

В КУЗНИЦЕ

Суббота, 18 февраля

Вчера вечером к нам пришел Прекосси и напомнил, что я обещал навестить его в кузнице, которая находится совсем недалеко от нашего дома. И вот сегодня утром мы с отцом зашли туда на минутку. Когда мы подходили к кузнице, то увидели, как из дверей ее выбежал Гарофи, в своей развевающейся на ветру накидке, под которой он прячет свои товары, и с каким-то пакетом в руках. «Ага,— подумал я,— теперь понятно, откуда этот торгаш Гарофи получает железные опилки, которые потом обменивает на старые газеты».

У самого входа, на сложенных в виде скамейки кирпичах, сидел Прекосси. На коленях у него лежала открытая книга, и он учил уроки. Увидев нас, он сразу же вскочил и попросил войти.

Кузница была полна угольной пыли, на стенах висели молоты, клещи, железные полосы и куски железа разной формы. В углу, в горне, пылал огонь, и какой-то мальчик раздувал

его мехами. Отец Прекосси стоял у наковальни, а его помощник держал в огне железную полосу.

— А, вот он! — сказал кузнец, увидев нас, и приподнял свой берет, — вот он, тот самый славный мальчик, который раздаст железнодорожные поезда! Ты пришел посмотреть, как мы работаем? Сейчас мы тебе это покажем.

Кузнец улыбался, лицо его уже не было искаженным, а глаза не глядели исподлобья, как прежде. Помощник протянул ему длинную железную полосу, раскаленную с одной стороны, и кузнец положил ее на наковальню. Из этой полосы должен был получиться прут с разными завитками для балконной решетки. Мастер поднял свой большой молот и начал бить по железу, подвигая раскаленную часть полосы то туда, то сюда по наковальню и поворачивая ее самым различным образом. И, о чудо! Под быстрыми и точными ударами молота железо изгибалось, перекручивалось и мало-помалу принимало изящную форму изогнутого цветочного лепестка.

Кузнец проделывал это с такой же ловкостью, как если бы он руками делал украшения из теста. Тем временем сын его смотрел на нас с выражением некоторой гордости, как бы говоря: «Смотрите, вот как работает мой отец!»

— Ну что, синьорино, теперь ты видел, как это делается? — спросил меня мастер, окончив свое дело и показывая мне полосу, которая стала похожа на стебель с цветком. Потом он отложил ее в сторону и сунул в огонь другую.

— Действительно, это очень хорошо сделано, — сказал мой отец и прибавил: — Итак, дело пошло на лад? Вернулась охота к работе?

— Да, вернулась, — немного смущившись, ответил рабочий и вытер пот. — Знаете, кто заставил меня вернуться к работе?

Мой отец сделал вид, что не знает.

— Вот этот парнишка, — продолжал кузнец, показывая пальцем на своего сына, — этот вот самый мой сынок, который до того хорошо учился, что сделал честь своему отцу, тогда как этот отец... кутил и обращался с ним как с собакой. Когда я увидел эту медаль... Ах ты, сыночек мой, сам-то ты еще с ноготок. Поди-ка сюда, я полюбуюсь твоей мордашкой!

Мальчик подбежал к отцу, который схватил его под мышки, поднял, поставил на наковальню и сказал:

— Отполириуй-ка как следует фронтон своему негодному папке.

И Прекосси стал покрывать поцелуями черное лицо своего отца, пока сам не стал тоже совсем черным.

— Вот это славно! — объявил кузнец и поставил сына опять на землю.

— Да, это действительно хорошо, Прекосси! — радостно воскликнул мой отец.

Он попрощался с ними и повел меня из кузницы. Пока мы шли к двери, маленький Прекосси сказал мне:

— Прости, пожалуйста, — и потихоньку сунул мне пакетик с гвоздями, и я пригласил его к нам, смотреть на карнавал из окон нашего дома.

— Ты подарил ему поезд, — сказал мне мой отец, когда мы были уже на улице, — но если бы этот поезд сделан был из золота и нагружен жемчугом, то и тогда он не был бы достаточной наградой для этого замечательного мальчика, который сумел обратить к добру сердце своего отца.

МАЛЕНЬКИЙ КЛОУН

Понедельник, 20 февраля

Весь город в волнении из-за карнавала¹, который уже приближается к концу. На каждой площади появились палатки акробатов и борцов. Под нашими окнами вырос обтянутый парусиной цирк, где дает представление маленькая венецианская труппа с пятью лошадьми. Этот цирк раскинулся посередине площади, а в стороне стоят три больших фургона, где акробаты спят и переодеваются. Это три ящика на колесах, с окошечками и трубой, из которой всегда идет дым. Из окошечек вы-

¹ Карнавал — распространено в Италии с давних пор народное празднество, сопровождающееся маскарадами, уличными шествиями, театральными представлениями, состязаниями и т. д.

глядывают мальчишеские физиономии. У них есть еще женщины с грудным ребенком, которая готовит им пищу и ходит по канату.

Мы часто говорим с презрением «акробат», «фокусник», однако они честно зарабатывают свой хлеб, и притом еще всех забавляют. А как им приходится работать! Ведь день они бегают между цирком и фургонами, в одних трико, по такому холду; едят они наспех, не присаживаясь, между двумя представлениями. А один раз, когда цирк уже был полон народа, вдруг поднялся ветер, сорвал парусину, потушил огни, и прошай спектакль! Пришлось вернуть публике деньги и потратить целый вечер, чтобы исправить все повреждения.

В этом цирке работают два мальчика, и мой отец узнал самого маленького, когда тот бежал через площадь. Это сын хозяина, тот самый, которого мы видели в прошлом году в цирке на главной площади, где он проделывал фокусы верхом на лошади. За этот год он вырос, ему скоро будет восемь лет. Это красивый мальчик, с миловидным кругленьким, загорелым и ялутоватым лицом. У него такие густые черные вьющиеся волосы, что они постоянно выбиваются из-под остроконечной шапочки. Он одет как клоун, на нем нечто вроде мешка с рукавами, из белой, вышитой черным, ткани и парусиновые туфли. Он похож на маленького чертенка, он всем нравится и делает всё, что угодно. Нам видно, как он, закутанный в шаль, рано утром несет молоко в свой деревянный домик. Потом он идет за лошадьми в конюшню на улице Бертола, нянчит грудного ребенка, носит обручи, козлы, палки, канаты. Он чистит фургоны, разводит огонь, а в минуты отдыха всегда льнет к своей матери. Мой отец всё время наблюдает за ним из окна и непрерывно говорит о нем и о всей семье. Они кажутся хорошими, честными людьми и, должно быть, любят своих детей.

Однажды вечером мы пошли в цирк. Было холодно, и там почти никого не было. Но маленький клоун старался изо всех сил, чтобы самостоятельно, без посторонней помощи, развеселить свою немногочисленную публику. Он делал сальто-мортали, цеплялся за хвост лошадей, ходил на руках и пел. И с его красивого загорелого лица ни на минуту не сходила улыбка.

Его отец, в красной куртке, белых рейтузах и высоких сапогах, стоял с бичом в руках и грустно смотрел на своего сына.

Мой отец очень жалел всю их труппу и на следующий день рассказал о ней художнику Делису, который пришел к нам в гости. Бедные люди! Они стараются изо всех сил, и так мало зарабатывают!

— А этот мальчик — такой прелестный! Нельзя ли как-нибудь помочь им?

Тогда художнику пришла в голову замечательная идея.

— Напиши, — сказал он моему отцу, — хорошую статью в «Туринскую газету», ведь ты умеешь писать такие вещи; расскажи о всех фокусах маленького клоуна, а я нарисую его портрет. Все читают эту газету, и публика придет в цирк хотя бы на одно представление.

Так они и сделали. Мой отец написал прекрасную статью, где так живо описал все, что мы видели из наших окон, что у каждого читателя должно было проснуться желание посмотреть на маленького актера и помочь ему. А художник сделал небольшой, изящный портрет мальчика, который напечатали в субботу вечером. И вот на воскресное представление в цирке собралась огромная толпа. На афише было написано: «Бенефис¹ маленького клоуна». (Маленьким клоуном он был назван в газетной статье.)

Отец повел меня на это представление, и мы заняли с ним места в первом ряду. У входа в цирк висел экземпляр «Туринской газеты» со статьей моего отца. Цирк был переполнен. У многих зрителей в руках была газета, и они показывали ее маленькому клоуну, который, смеясь и буквально сияя от счастья, перебегал от одного к другому.

Хозяин цирка тоже казался очень довольным.

Подумать только! Статья в газете оказала ему столько чести, и касса оказалась наполненной.

Мой отец сидел рядом со мной, и среди зрителей мы узнали многих своих знакомых.

¹ Бенефис — спектакль, который устраивается в пользу какого-либо одного актера.



Около выхода из конюшни стоял наш учитель гимнастики, тот, который сражался в войсках Гарибальди, а против нас, во втором ряду, около своего великана-отца сидел наш круглолицый маленький Кирпичонок; не успел он меня увидеть, как сейчас же сстроил мне «заячью мордочку». Немного дальше я увидел Гарофи, который считал зрителей, вычисляя по пальцам, сколько денег должно было поступить в кассу.

На некотором расстоянии от нас, тоже в первом ряду, сидел бедный Робетти, тот самый, который спас мальчика; он поставил костили между колен и прижимался к своему отцу, артиллерийскому капитану, а тот обнимал его за плечи.

Представление началось. Маленький клоун проделывал чудеса ловкости на спине бегущей лошади, на трапеции и на канате, и каждый раз, когда он спрыгивал на землю, все ему аплодировали.

Потом и другие актеры — акробаты, фокусники, наездники, одетые в пестрые, сверкающие серебром костюмы,— стали показывать свои номера. Но когда маленького клоуна не было на арене, то казалось, что публике становится скучно.

Вдруг я увидел, как учитель гимнастики, стоявший около выхода из конюшни, сказал что-то на ухо хозяину цирка, и тот стал обводить зрителей глазами, как бы ища кого-то. Наконец его взгляд остановился на нас. Мой отец заметил это, понял, что учитель открыл хозяину, кто автор статьи, и чтобы не выслушивать благодарности, поспешил незаметно уйти, шепнув мне:

— Оставайся, Энрико, я буду ждать тебя на улице.

Маленький клоун, обменявшийся несколькими словами со своим отцом, показал еще следующие номера: скакал галопом на лошади, четыре раза переодевался — пилигримом¹, моряком, солдатом и акробатом, и каждый раз, проходя мимо меня, пристально на меня взглядал. Потом он стал обходить арену, держа в руках свою клоунскую шапку, и все бросали ему деньги и конфеты. Я держал наготове два сольдо, но когда он оказался передо мной, то вместо того, чтобы протянуть свою

¹ Пилигрим — странствующий богомолец, путник.

шляпу, спрятал ее за спину, посмотрел на меня и прошел мимо. Я был обижен. За что он так обошелся со мной?

Когда представление окончилось, хозяин поблагодарил публику, все встали и бросились к выходу. Я смешался с толпой и был уже у самых дверей, когда кто-то тронул меня за руку. Я обернулся и узнал смуглого личико и черные локоны маленького клоуна; он улыбался мне, и руки его были полны конфет. Тогда мне все стало ясно.

— Пожалуйста,— сказал он мне,— возьми эти конфеты от маленького клоуна.

Я взял три или четыре конфетки.

— Тогда,— прибавил он,— вот тебе еще поцелуй.

— Дай мне два,— ответил я и подставил ему щеку.

Он вытер рукавом свое напудренное мукою лицо, обнял меня за шею и поцеловал в обе щеки, приговаривая:

— Это тебе, а этот отнеси своему папе.

СЛЕПЫЕ ДЕТИ

Четверг, 24 февраля

Наш учитель серьезно заболел, и вместо него к нам пришел учитель из четвертого класса, который прежде преподавал в институте для слепых. Это самый старый учитель в нашей школе, волосы у него такие белые, что кажутся париком, сделанным из ваты, и говорит он особенным образом, как будто поет какую-то грустную песню. Но он добрый и знает много интересных вещей.

Как только он вошел в наш класс, так сразу же обратил внимание на мальчика с завязанным глазом, подошел к его парте и спросил, что у него такое.

— Береги глаза, мальчик,— сказал он ему.

Тогда встал Деросси:

— Правда ли, синьор учитель, что вы учили слепых?

— Да, в течение многих лет,— ответил тот, и тогда Деросси негромко прибавил:

— Расскажите нам о них что-нибудь.

Учитель пошел и сел за свой стол.

Тут Коретти громко заявил:

— Институт для слепых находится на улице Ниццы.

— Вот вы говорите «слепые», «слепые»,— начал учитель,— точно так же, как вы говорите «больные» и «бедные» или еще что-нибудь в этом роде. Но понимаете ли вы как следует значение этого слова — «слепые»? Задумайтесь над этим. Не видеть ничего, никогда. Не отличать света от мрака, не видеть ни неба, ни солнца, ни собственных родителей, ничего из того, что вас окружает и чего можно коснуться. Быть погруженным в вечный мрак, как бы похороненным в земле!

Попробуйте закрыть глаза и подумать, что вам навсегда придется оставаться в таком состоянии, и вас сразу же охватит страх, ужас, вам покажется это таким непереносимым, что вы готовы будете кричать, пожелаете лучше сойти с ума или умереть... а они... бедные дети!

Когда я первый раз вошел в институт для слепых, как раз во время перемены, и услышал, что со всех сторон несутся звуки скрипок и флейт, всюду раздаются громкие голоса и смех, увидел, что дети быстрыми шагами спускаются и поднимаются по лестницам, свободно ходят по коридорам и спальням,— я никак не мог представить себе, что они слепые. Для этого надо хорошенько присмотреться к ним.

Среди них есть юноши шестнадцати или восемнадцати лет, сильные, здоровые и веселые, которые переносят свою слепоту с какой-то непринужденностью, даже почти с какой-то гордостью. Но взглянувшись в серье зное и несколько надменное выражение их лиц, начинаешь понимать, какие ужасные страдания они должны были пережить, прежде чем покорились обстоятельствам. У других лица бледные и кроткие, на них написана покорность своей участии, но такие дети печальны и, должно быть, иногда, потихоньку еще плачут.

Ах, мальчики, подумайте о том, что некоторые из них потеряли зрение в течение нескольких дней, другие — после долгих лет болезни и многих страшных хирургических операций, а многие так и родились во мраке ночи, которая для них никогда не засияет зарей, вошли в мир, как в огромное подземелье,

не знают даже, как выглядит человеческое лицо! Представьте себе, как они должны были страдать и как страдают, когда смутно стараются понять страшную разницу между ними и теми, кто видит, и как они спрашивают себя: «Откуда же взялась эта разница? Ведь мы ни в чем не виноваты». Я много лет провел среди них, и когда вспоминаю их классы, их глаза, навсегда запечатанные печатью мрака, зрачки без взгляда и без жизни, а потом смотрю на вас... Я не могу себе представить, чтобы вы не были счастливы. Подумайте: в Италии около двадцати шести тысяч слепых, двадцать шесть тысяч человек не видят света. Это целое войско, и ему понадобилось бы четыре часа, для того чтобы пройти мимо наших окон!

Учитель умолк. В классе не слышно было ни звука. Деросси спросил, правда ли, что у слепых осязание тоньше, чем у нас.

— Это правда,— ответил учитель.— Все остальные чувства у них обострены, так как они, все вместе, должны восполнить недостаток зрения; все эти чувства у слепых гораздо больше упражняются, чем у зрячих. Утром, в спальне, один спрашивает другого: «Сегодня солнце?»— и тот, кто быстрее всех оделся, скорее бежит во двор, водит руками по воздуху, чтобы ощутить солнечную теплоту, и бежит назад с радостной вестью: «Да, сегодня солнце!» По голосу человека они составляют себе представление о его внешности. Мы судим о характере человека по его глазам, они — по голосу. Они годами помнят оттенки и выражение разных голосов. Они знают, что в комнате находится несколько человек, даже если говорит из них только один, а остальные стоят неподвижно. Дети различают крашеную шерсть от некрашеной. Когда они в парах проходят по улице, они узнают почти все лавки по запаху, даже те, в которых мы не чувствуем никакого запаха. Они запускают волчки и, прислушиваясь к шуму от их вращения, без ошибки идут и находят их. Они гоняют обручи, играют в кегли, прыгают через веревочку, строят домики из камешков, собирают фиалки так, как будто их видят, быстро и ловко делают рогожи и корзинки, вплетая в них разноцветную солому, так развито у них осязание. Осязание — это их глаза.

Трогать вещи, сжимать их, ощупывать, чтобы узнати их форму,— для них величайшее удовольствие. Когда их водят в промышленный музей, то позволяют трогать там всё, что они захотят, и нельзя без волнения смотреть, с каким восторгом они бросаются к моделям геометрических фигур, к макетам домов, к различным инструментам, с какой радостью ощупывают, трут, вертят в руках все вещи, чтобы увидеть, как они сделаны. Они употребляют слово «видеть»...

Тут Гароффи прервал учителя, чтобы спросить, правда ли, что слепые считают лучше, чем зрячие дети?

— Да, это верно,— ответил учитель.— Они научаются считать и читать. Специально для них делают книги с выпуклыми буквами. Они водят по ним пальцами, узнают буквы и произносят слова. Они научаются бегло читать. И они также пишут, но только не чернилами. Они пишут на толстой твердой бумаге металлическим острием, с помощью которого прокалывают точки — отверстия, располагая их по специально составленному алфавиту; эти наколы рельефно выступают на обратной стороне бумаги, и таким образом, перевернув лист и проводя пальцами по выступающим наколам, слепые могут читать то, что написали сами, а также написанное другими. Так они составляют целые сочинения и пишу друг другу письма. Таким же образом они пишут цифры и делают вычисления. В уме они считают с невероятной легкостью, так как их не отвлекает вид окружающих предметов, как нас. А как они любят слушать чтение вслух, как они внимательны, как всё запоминают, как потом обсуждают между собой, даже самые младшие, разные случаи из истории и всё, что они слышали.

Они усаживаются вчетвером или впятером на одну скамью и, не поворачиваясь друг к другу, разговаривают первый с третьим, а второй с четвертым, все одновременно и громко, не пропуская ни слова, такой острый и быстрый у них слух. Они узнают своего учителя по шагам и по запаху, замечают, когда он в хорошем, а когда в плохом настроении, здоров он или плохо себя чувствует,— всё это по звуку одного его слова. Они любят, чтобы учитель касался их, когда он доволен ими, а сами, чтобы выразить свою благодарность, гладят ему руки. Они также

очень привязываются друг к другу, они — хорошие товарищи. Во времена перемен они обыкновенно почти всегда вместе.

В школе девочек они разделяются на отдельные группы, в зависимости от инструментов, на которых играют,— скрипачки, пианистки, флейтистки,— и никогда не расстаются. Если кто-нибудь из них привязывается к другому, то редко бывает, чтобы он его разлюбил. Дружба является для них большим утешением, и они почти никогда не осуждают один другого. У них ясное и глубокое понимание хорошего и плохого, и никто не приходит в такое восторженное волнение при рассказе о добром деле или геройском подвиге, как слепые дети..

Ботини спросил, хорошо ли они играют.

— Они страстно любят музыку,— отвечал учитель.— Музыка — их радость, их жизнь. Слепые малыши, только что поступившие в институт, способны по три часа подряд простоять неподвижно, слушая музыку. Они легко учатся музыке и играют с увлечением. Когда учитель говорит кому-нибудь, что он неспособен к музыке, тот страшно огорчается и начинает заниматься с бесконечным рвением. А если бы вы слышали, как они играют, если бы вы видели их в это время, трепещущих от волнения, с поднятыми вверх лицами, с улыбкой на губах и пылающими щеками; они почти в экстазе слушают ту гармонию, которой наполняют бесконечный окружающий их мрак. Вы поняли бы тогда, каким божественным утешением может быть музыка. Слепой радуется, сияет от счастья, когда учитель говорит ему: «Ты будешь артистом». Для слепых тот, кто первый ученик по музыке, кто лучше всех играет на рояле или скрипке,— тот настоящий король: все его любят, все уважают. Если возникает спор,— идут к нему. Если двое друзей поссорятся, он их примиряет. Самые маленькие, которых он учит музыке, любят его как отца. Перед сном все идут желать ему спокойной ночи. Слепые дети постоянно говорят о музыке. Даже поздно вечером, уже лежа в постели, усталые от учения и работы, полусонные, они всё еще шепотом говорят об операх, музыкантах, инструментах, оркестрах. И для них самое большое наказание — лишиться урока музыки или чтения о музыке; они так от этого страдают, что почти никогда у старших не поднимается рука

наказывать их таким образом. То же, что свет для наших глаз, то же самое музыка для их ушей.

Деросси спросил, нельзя ли нам пойти навестить их.

— Можно,— ответил учитель,— но не сейчас; вы пойдете к ним позже, когда будете в силах понять все величие их состояния и почувствовать к ним ту жалость, которой они достойны. Это печальное зрелище, дети мои.

Проходя мимо института для слепых, вы можете увидеть там мальчиков, сидящих у раскрытых окон и дышащих свежим воздухом. Вам кажется, что они смотрят на широкую зеленую равнину и чудесные голубые горы, на которые смотрите вы... и при мысли, что они ничего не видят, что они никогда ничего не увидят из всей этой безграничной красоты, у вас сжимается сердце, как будто бы вы сами на это мгновение ослепли.

Те, которые родились слепыми и никогда не видели окружающего мира, те по крайней мере ни о чем не сожалеют, потому что у них нет представления о вещах, и поэтому они не так несчастны.

Но те, которые ослепли только несколько месяцев тому назад, которые еще все помнят, которые хорошо понимают, чего они лишились,— тем еще тяжелее оттого, что они чувствуют, как в их памяти с каждым днем все бледнее и бледнее становятся самые дорогие изображения, умирает воспоминание о самых дорогих лицах. Один из этих мальчиков сказал мне однажды с невыразимой грустью: «Я хотел бы иметь зрение, чтобы увидеть еще хотя бы один раз, хоть на одно мгновенье, лицо моей мамы, которого я больше не помню». А когда приходила к нему мать, он клал руки ей на лицо, ощупывал его, чтобы представить себе, каково оно; он не мог поверить, что не может больше ее видеть, и называл ее по имени много, много раз, как будто бы прося, чтобы она позволила ему, дала ему еще раз себя увидеть.

Из этого института даже черствые сердцем выходят в слезах. А когда я расставался со слепыми детьми, мне казалось, что мы — это счастливое исключение, что мы обладаем почти незаслуженной привилегией видеть людей, дома, небо. О, я уверен, что среди вас нет ни одного, кто, выйдя оттуда, не почувствовал

бы себя готовым отдать часть своего собственного зрения, чтобы дать хотя бы слабый отблеск его этим бедным детям, для которых солнце не имеет света, а мать — лица.

У БОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

Суббота, 25 февраля

Вчера вечером, возвращаясь из школы, я зашел навестить нашего больного учителя. Он заболел от переутомления. Каждый день у него было пять уроков в нашем классе, потом он еще час занимался с нами гимнастикой, а после занятий давал еще два урока в вечерней школе. А это означает: мало спать, есть наспех и целый день не знать отдыха; это значит губить свое здоровье.

Так говорит мама. Она осталась ждать меня внизу, у ворот, а я пошел наверх и на лестнице встретил учителя с черной бородкой, Коатти, того самого, который всех пугает и никого не наказывает; он посмотрел на меня страшными глазами и зарычал, как лев,— всё это в шутку, но с совершенно серьезным лицом. А меня это так рассмешило, что когда я дошел до четвертого этажа и позвонил у дверей нашего учителя, то всё еще смеялся. Но мне сразу стало грустно, когда служанка ввела меня в скромную полутемную комнату учителя. Он лежал на узкой железной кровати; борода у него отросла. Он приставил руку к глазам, чтобы разглядеть, кто пришел, и ласково воскликнул:

— А, это ты, Энрико!

Я подошел к кровати, он положил руку мне на плечо и сказал:

— Ты молодец, мой друг, что пришел навестить своего больного учителя. Видишь, в каком я теперь состоянии, мой милый Энрико. А что делается у нас в школе? Как поживают твои товарищи? Всё идет хорошо, не правда ли, и без меня? Ведь вы прекрасно обходитесь без вашего старого учителя?

Я хотел сказать, что нет, но он прервал меня:

— Ну ладно, ладно, я знаю, что вы ко мне неплохо относитесь,— и при этом он вздохнул.

Я посмотрел на фотографии, прикрученные к стене.

— Видишь,— сказал он мне,— эти мальчики дали мне свои портреты больше двадцати лет тому назад. Они были хорошие мальчики. Эти фотографии — моя память. Умирая, я буду до последней минуты смотреть на них, на моих плутышек, среди которых прошла моя жизнь. Ты мне дашь свою карточку, не правда ли, когда будешь кончать начальную школу?

Потом он взял с ночного столика апельсин и дал его мне.

— У меня нет ничего другого,— сказал он.

Я смотрел на него, и мне было очень грустно, не знаю почему.

— Видишь ли,— продолжал он,— я надеюсь поправиться, но если не поправлюсь... тебе надо подзаинтаться арифметикой, это твое слабое место. Сделай над собой усилие; ведь часто бывает трудно сделать как раз первое усилие. Знаешь, иногда только кажется, что по какому-нибудь предмету у тебя не хватает способностей, а потом уже не можешь отдалиться от этой мысли.

Но тут он стал тяжело дышать,— видно было, что он плохо себя чувствует.

— У меня лихорадка,— вздохнул он, но всё-таки дал мне еще несколько советов: больше заниматься арифметикой, решать задачи. Не попытаться ли получить награду? Не выйдет? — тогда немного отдохнуть, а потом начать снова. Еще раз не выйдет? — опять немного отдохнуть, и опять за работу, до победного конца. Вперед, но спокойно, не перенапрягая сил, не увлекаясь чрезмерно.

— А теперь иди,— сказал он,— кланяйся своей матери, и не поднимайся больше ко мне на четвертый этаж, мы скоро снова увидимся в школе. А если и не увидимся, вспоминай иногда своего учителя третьего класса, который тебя любил.

Услышав эти слова, я заплакал.

— Нагнись ко мне,— сказал он.

Я нагнулся к изголовью кровати, он поцеловал меня в голову, потом сказал: «Иди», — и отвернулся лицом к стене. А я бегом побежал вниз по лестнице, к маме.

УЛИЦА

Суббота, 25 февраля

Сегодня вечером я видел в окно, как ты возвращался домой от своего учителя и толкнул женщину. Надо быть более внимательным и на улице тоже вести себя как следует. Если ты следишь за своими шагами и за всеми своими движениями дома, почему же ты не делаешь этого на улице, которая является как бы общим домом для всех? Запомни это, Энрико. Каждый раз, встретив на улице дряхлого старца, бедняка, женщину с ребенком на руках, калеку на костылях, человека, согнувшегося под непосильной тяжестью, или семью, одетую в траур, вежливо уступай им дорогу. Мы должны уважать старость, бедность, материнскую любовь, болезнь, труд и горе тех, кто потерял своих близких. Если ты увидишь, что человек вот-вот попадет под экипаж, оттащи его в сторону, если это ребенок; окликни его, если это взрослый. Увидев плачущего ребенка, всегда спроси его, что с ним. Если старик уронил палку, поспеши поднять ее. Если двое детишек дерутся, пострайся разнять их. Если это двое мужчин, то уди подальше, не оставайся глядеть на проявление грубой силы, которая оскорбляет иожесточает сердце. А если ты увидишь, что между двумя стражниками шагает человек со связанными руками и толпа с любопытством следует за ним, не присоединяйся к ней: этот человек может быть невиновен. Не болтай с товарищами и не улыбайся, когда мимо тебя проносят больничные носилки, проходит погребальная процессия. Помни, что завтра такая же процессия может выйти из твоего дома.

Смотри с уважением на детей, которые, пара за парой, выходят из разных институтов: слепых, глухонемых, калек, сирот, брошенных детей. Помни, что это перед тобой проходят горе и милосердие человечества.

Делай всегда вид, что не замечаешь в человеке отталкивающего или смешного уродства. Всегда туши горящие спички, которые попадаются тебе под ноги, так как непотушенная спичка может иногда стоить многих человеческих жизней. Всегда вежливо отвечай прохожему, который спрашивает у тебя дорогу.

Ни над кем не смейся, не бегай без цели, не кричи, уважай улицу. О культуре народа можно судить по тому, как он ведет себя на улице. Где ты встретишь грубость на улице, там, значит, грубость и в домах. И вместе с тем изучай улицу, узнай хорошенько город, в котором ты живешь. Если завтра судьба забросит тебя далеко от него, тебе будет приятно, что он хорошо запечатлелся у тебя в памяти и что ты сможешь вспомнить его со всех подробностях. Твой родной город — это твоя маленькая родина, которая в течение многих лет была для тебя целым миром, где ты сделал свои первые шаги, держась за руку матери, пережил первые волнения, где в уме твоем возникли первые мысли, где ты нашел первых друзей. Твой родной город был для тебя настоящей матерью: он учил тебя, забавлял, охранял. Изучай свой город; изучая его улицы и его жителей, люби его, не позволяй оскорблять и научись защищать его.

Твой отец.

Март

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

Четверг, 2 марта

Мой отец повел меня посмотреть вечерние занятия в нашей школе. В классах уже горел свет, и рабочие начинали собираться.

Когда мы пришли, директор и все учителя были страшно возмущены, потому что кто-то незадолго до их прихода разбил камнем оконное стекло.

Сторож, выбежав на улицу, схватил было проходившего мимо мальчика, но тогда появился Старди, который живет напротив школы, и заявил: «Это не он, я видел своими глазами, как Франти бросил камень, а потом сказал мне: берегись, если скажешь хоть слово! Но я не боюсь его».

Директор заявил, что на этот раз Франти будет окончательно исключен из школы.

Тем временем я смотрел на рабочих, которые по двое и по трое входили в школу. Их пришло, должно быть, более двухсот человек.

Я никогда раньше не видел, как хорошо в вечерней школе. Тут были и мальчики старше двенадцати лет и бородатые мужчины, которые шли с работы, неся в руках свои книги и тетради. Тут были и столяры, и кочегары с черными лицами, и каменщики с руками, белыми от известки, и пекари с волосами, напудренными мукой; пахло и лаком, и кожей, и смолой, и машинным маслом, смешивались запахи всех профессий.

В школу вошел также отряд рабочих артиллеристов; они

были в солдатской форме, и вел их капрал. Все быстро рассаживались по партам, убирали нижнюю планку, на которую мы ставим ноги, и сразу же склонялись над работой. Многие подходили к учителю с открытыми тетрадями и просили объяснить непонятное.

Я увидел молодого и хорошо одетого учителя, которого мы прозвали адвокатиком; около его стола стояло трое или четверо рабочих, и он проверял их тетради. Здесь был также хромой учитель, который смеялся вместе с рабочим красильщиком над его тетрадкой, перепачканной красной и синей краской.

Я увидел и нашего учителя,— он поправился и завтра должен вернуться в школу.

Двери во все классы оставались открытыми. Когда начались уроки, можно было просто удивляться, как все были внимательны, как все глаза были устремлены на учителя. А вместе с тем большинство рабочих, как нам сказал директор, чтобы не опоздать в школу, даже не зашли домой поужинать и сидели голодные. У младших, правда, после получаса занятий начали слипаться глаза, а многие просто засыпали, уронив голову на парту. Учитель будил их, щекоча им уши кончиком пера. Но старшие не засыпали, нет, они сидели, открыв рот, и не мигая слушали учителя. Мне странно было видеть за нашими партами всех этих бородачей.

Мы поднялись также во второй этаж, я побежал к двери своего класса и увидел на своем месте мужчину с огромными усами и забинтованной рукой... Может быть, он повредил ее во время работы у машины. И несмотря на это, он всё-таки писал, хотя и очень медленно.

Но больше всего мне понравилось, что на месте Кирпичонка, на той же самой скамье и в том же самом углу, сидел его отец, великан-каменщик. Он весь как-то сжался, подперев голову кулаками, и внимательно, не дыша, смотрел в книгу.

Он, оказывается, не случайно сидел на месте своего сына. В первый же вечер, прия в школу, он сказал директору:

«Синьор директор, сделайте мне одолжение, посадите меня на место моей «заячьей мордочки»...— так он всегда называет своего сына.

Мы с отцом оставались в школе до самого конца занятий и видели, как на улице собирались ожидающие своих мужей женщины с детьми на руках. А когда их мужья стали выходить, то начался следующий обмен: рабочие брали на руки детей, а жены забирали у них книги и тетради, и все расходились по домам.

В течение нескольких минут на улице было очень людно и шумно. Потом всё затихло, и последнее, что мы видели, это была высокая, усталая фигура удаляющегося директора.

ДРАКА

Воскресенье, 5 марта

Так и должно было случиться: Франти, выгнанный директором, решил отомстить и подстерег Старди на углу, когда тот шел домой вместе со своей сестренкой, за которой он каждый день заходит в школу девочек на улице Дора Гросса. Моя сестра Сильвия, которая как раз выходила из школы, видела всё и прибежала домой страшно напуганная.

Вот что произошло: Франти, сдвинув на одно ухо свой клеенчатый берет, побежал на цыпочках вслед за Старди и, чтобы вызвать его на драку, дернул за косу его сестренку, да с такой силой, что она чуть не упала. Девочка закричала, ее брат обернулся.

Франти, который гораздо выше и сильнее, чем Старди, очевидно думал: «Или он не посмеет и пикнуть, или я изобью его как следует». Но Старди, наш низенький коренастый Старди, ни секунды не раздумывая, одним прыжком бросился на верзилу Франти и начал тузить его кулаками.

Но он всё-таки был слабее и получал ударов больше, чем сам давал их. На улице в это время находились одни девочки, и никто не мог разнять дерущихся. Франти бросил Старди на землю, но тот сейчас же вскочил и снова кинулся на врага. Франти стал бить Старди кулаками, в одну секунду рассек ему ухо, подбил глаз, раскровянил нос. Но Старди держался.

Он кричал:

— Убей меня, но раньше я с тобой рассчитаюсь!

Сверху сыпались удары и пощечины Франти, а Старди снизу бил головой и ногами.

Какая-то женщина крикнула из окна:

— Молодец малыш!

Другие говорили:

— Этот мальчик бросился защищать свою сестру.

— Держись!

— Дай ему хорошенъко!

А по адресу Франти кричали:

— Насильник! Негодай!

Наконец Франти совершенно озверел, он подставил Старди ногу, тот упал, и Франти навалился на него:

— Сдавайся!

— Нет!

— Сдавайся!

— Нет!

Вдруг, изогнувшись, Старди вскочил на ноги, схватил Франти поперек туловища, с неистовой силой повалил его на мостовую и стал ему коленом на грудь.

— Ах, негодай, у него нож! — крикнул какой-то мужчина и бросился, чтобы обезоружить Франти.

Но уже Старди, совершенно вышедший из себя, схватил руку Франти обеими своими руками и так укусил ее, что тот выпустил нож и на руке его показалась кровь. Тем временем подбежали другие, розняли дерущихся и поставили их на ноги. Франти сейчас же убежал, а Старди остался стоять, с исцарапанным лицом, подбитым глазом, но победителем, около своей плачущей сестры, в то время как другие девочки подбирали его книги и тетради, рассыпавшиеся по улице.

— Молодец малыш! — говорили вокруг него. — Он вступил за свою сестру!

Но Старди, который теперь думал больше о своем ранце, чем о своей победе, бросился перебирать одну за другой книги и тетради, — не потерялась ли и не пострадала ли какая-нибудь из них. Он вытер их рукавом, осмотрел перо, все положил по местам, а потом, спокойный и серьезный как всегда, сказал сестре:

— Пойдем скорей, мне сегодня еще надо решить арифметическую задачу в четыре действия.

РОДИТЕЛИ МОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Понедельник, 6 марта

Сегодня толстый Старди-отец сам пришел за своим сыном, опасаясь, что он снова встретится с Франти. Но говорят, что мы больше не увидим Франти, так как его отправляют в исправительное заведение.

Сегодня у школы собралось много родителей. Тут был и продавец дров, отец Коретти, вылитый портрет своего сына, такой же ловкий, веселый, с заостренными усиками и трехцветной ленточкой в петлице.

Я уже знаю родителей почти всех моих товарищней, потому что часто вижу их около школы. Я заметил сгорбленную бабушку в белом чепце, которая и в дождь, и в снег, и в бурю, и утром, и после обеденного перерыва приходит провожать и встречать своего внука, мальчика из первого класса. Она помогает ему снимать и надевать пальто, поправляет галстук, чистит его костюмчик, разглядывает его тетради; видно, что она только о нем и думает, что он для нее лучше всех на свете.

Часто приходит также артиллерийский капитан, отец Робетти, того самого мальчика на костылях, который спас ребенка, оттащив его от омнибуса. Все товарищи его сына, проходя мимо, здороваются с ним, и он всем ласково отвечает, никогда никого не забудет, ко всем наклоняется, и чем беднее и хуже одеты здоровающиеся с ним дети, тем любезней он им отвечает и благодарит их.

Но иногда около нашей школы происходят и грустные сцены. Один синьор не приходил вот уже больше месяца, потому что у него умер сын, и за другим своим мальчиком он послал в школу служанку. А вчера он в первый раз пришел сам, но, увидев класс и товарищей своего умершего сына, он отошел в угол и заплакал, закрыв обеими руками лицо; тогда директор взял его под руку и увел к себе в кабинет.

Есть отцы и матери, которые знают по имени всех товарищего своего сына.

Приходят также за своими младшими братьями девочки из соседней школы и ученики из гимназии.

Приходит один старый синьор, бывший полковник, и если кто-либо из мальчиков уронит посреди улицы тетрадь или перо, то старый синьор сейчас же поднимет их.

Богато одетые дамы разговаривают у дверей нашей школы с женщинами в платочках и с корзинками в руках, и говорят они о разных школьных делах:

— Ах, какая ужасно трудная задача была задана в этот раз!

— А урок грамматики сегодня утром! казалось, он никогда не кончится!

Когда в одном из классов кто-нибудь болен, то все об этом знают, а когда больному становится лучше, все радуются. Как раз сегодня утром несколько женщин, синьор и работниц, окружили мать Кросси, зеленщицу, расспрашивая ее о бедном малыше, который живет на одном дворе с ней и сейчас опасно болен.

Кажется, что все эти женщины здесь равны и все любят нашу школу.

НОМЕР 78

* * *
Среда, 8 марта

Вчера вечером произошла трогательная сцена. Вот уже несколько дней, как зеленщица, проходя мимо Деросси, смотрит на него особенно ласково. Дело в том, что Деросси, узнав секрет деревянной чернильницы и заключенного номер 78, стал особенно хорошо относиться к его сыну, Кросси, мальчику с рыжими волосами и большой рукой. Деросси помогает ему заниматься в школе, подсказывает ему ответы, дарит ему листы бумаги, перышки, карандаши,— одним словом, относится к нему как к настоящему брату. Всё это он делает как будто в возмещение того несчастья, которое случилось с отцом Кросси и о котором сын ничего не знает.

Зеленщица много дней подряд всё смотрела на Деросси, словно не могла оторвать от него глаз. Она хорошая женщина,

живет только для своего мальчика, и поэтому Деросси, который помогает ее сыну учиться и занять лучшее место в классе, Деросси, настоящий синьор и первый ученик, кажется ей каким-то сказочным принцем. Она смотрит на него и как будто хочет что-то сказать ему, но стесняется.

Вчера утром она, однако, расхрабрилась и остановила Деросси у одной из дверей:

— Прошу прощения, синьорино, вы так добры, так хорошо относитесь к моему сыну, окажите мне милость, примите этот пустячок на память о бедной матери.

При этом она вынула из своей корзины с овощами маленькую картонную коробочку, белую с позолотой.

Деросси весь покраснел и стал отказываться, говоря:

— Отдайте ее лучше своему сыну, я ничего не возьму.

Женщина казалась огорченной и попросила извинения, бормоча:

— Я не хотела вас обидеть, это только леденцы.

Но Деросси продолжал отказываться, отрицательно качая головой. Тогда она робко достала из своей корзины пучок редиски и сказала:

— Возьмите хоть это, отнесите своей маме; она совсем свежая.

Деросси улыбнулся и ответил:

— Нет, спасибо, я не хочу ничего брать; я всегда буду делать всё, что могу, для вашего сына, но ничего не могу принять от вас, хотя очень вам благодарен.

— Но ведь вы не обиделись? — с тревогой спросила женщина.

— Нет, нет, — улыбаясь успокоил ее Деросси и ушел, в то время как она с радостным видом говорила:

— Ах, какой хороший мальчик! Я никогда не видела такого милого, такого красивого мальчика!

Казалось, что на этом дело и кончилось. Но вечером, в четыре часа, вместо матери Кросси пришел его отец, человек с бледным и грустным лицом.

Он остановил Деросси, и по тому, как он взглянул на него, я вдруг понял, что он подозревает, не известна ли Деросси его



тайна. Он пристально посмотрел на мальчика и сказал ему ласково и печально:

— Вы любите моего сына... но за что вы его так любите?

Деросси вспыхнул, как огонь. Он хотел бы ответить: «Я люблю его, потому что и вы, его отец, были несчастны и искупили свою вину, люблю за то, что вы хороший человек». Но у него не хватило духа сказать это,— в глубине души он испытывал трепет, почти ужас перед этим человеком, который пролил кровь и шесть лет просидел в тюрьме.

Но тот всё понял и, понизив голос, сказал, почти дрожа, на ухо Деросси:

— Вы любите сына, но ведь вы не плохо... не презираете отца, не правда ли?

— О нет, нет, совсем наоборот!— воскликнул Деросси, охваченный страстным душевным порывом.

Мужчина сделал внезапное движение, как бы для того, чтобы обнять мальчика, но не посмел, а вместо этого осторожно коснулся рукой белокурых локонов Деросси, глядя на него влажными глазами.

Потом он взял своего сына за руку и ушел быстрыми шагами.

СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО ТОВАРИЩА

Понедельник, 13 марта

Мальчик, который жил на одном дворе с зеленщицей, ученик первого класса, товарищ моего брата, умер. Учительница Делькати пришла в субботу вечером, вся в слезах, и сообщила об этом нашему учителю. Гарроне и Коретти сразу же попросили, чтобы им разрешили нести гроб.

Это был хороший мальчик, и на прошлой неделе он получил медаль за отличие. Он очень любил моего брата и как-то подарил ему сломанную копилку. Моя мать при встрече всегда ласкала этого мальчика.

Он был сыном железнодорожного рабочего и носил красный суконный беретик.

Вчера вечером, в воскресенье, в половине пятого, мы пошли к нему на дом, чтобы проводить его.

Его родители живут на первом этаже. На дворе уже было много мальчиков из первого класса вместе со своими матерями, пять или шесть учительниц и несколько соседей. Учительница с красным пером на шляпе и Делькати вошли в дом, и мы видели их через открытое окно... Обе плакали. Слышно было, как громко рыдала мать умершего мальчика. Две синьоры, матери его школьных товарищей, принесли по гирлянде цветов.

Ровно в пять часов мы двинулись в путь.

Гроб, совсем маленький, был покрыт черным сукном, и на нем лежали гирлянды цветов, принесенные двумя синьорами. С одной стороны к черному сукну были приколота медаль и три почетных отзыва, которые мальчуган заслужил в течение года. Гроб несли Гарроне, Коретти и еще два мальчика с того же двора. За гробом впереди всех шла Делькати, которая плакала так, как будто это был ее собственный сын, за ней остальные учительницы, а за ними мальчики с букетиками фиалок в руках. Некоторые из них были такие маленькие, что держались за руку матери. Они смотрели на гроб с удивлением, и я слышал, как один из них спросил у своей мамы: «Теперь, значит, мы его больше не увидим в школе?»

Когда мы вышли на улицу, нам встретились мальчики из колледжа, которые шли парами. Когда они увидели гроб с медалью и учителей, то все сняли свои береты.

Бедный малыш! Теперь никто уже не отнимет у него медали.

Мы никогда больше не увидим его красного беретика. Он был совсем здоров, проболел всего четыре дня и умер. В последний день он еще пытался встать, чтобы сделать задания по арифметике и хотел, чтобы ему положили его медаль на кровать, боясь, что ее отнимут. Нет, теперь уже никто не отнимет твоей награды.

Прощай, прощай, маленький товарищ, мы всегда будем помнить тебя в нашей школе.

НАКАНУНЕ 14 МАРТА

Вчерашний день был печальным, зато сегодняшний прошел очень весело.

Уже тринадцатое марта! Завтра — раздача наград в театре Виктора-Эммануила¹, чудесный ежегодный праздник.

Обычно в этот день на сцену выходят мальчики из разных школ и передают аттестаты, предназначенные для премий, синьорам, которые потом раздают их награждаемым ученикам.

Но на этот раз мальчики из разных школ будут выбраны не случайно:

Сегодня после утренних уроков в наш класс вошел директор.

— Мальчики, хорошая новость! — сказал он. Потом он вызвал нашего маленького калабрийца:

— Корачи!

Тот встал.

— Хочешь ты быть в числе мальчиков, которые завтра в театре должны будут выйти на сцену и передать аттестаты, предназначенные для премий, синьорам из городского совета?

Калабриец ответил, что да.

— Очень хорошо, — продолжал директор. — Таким образом у нас будет и представитель от Калабрии. Это выходит великолепно. В этом году наш городской совет пожелал, чтобы те десять или двенадцать мальчиков, которые принесут аттестаты из разных городских школ, были бы уроженцами всех областей Италии. У нас всего двадцать школ, с семью тысячами учащихся. Среди такого большого числа учеников нетрудно найти по одному мальчику из каждой области Италии. В школе Торквата Тассо нашлось два мальчика с наших островов: сардинец и сицилиец; школа Бонкомпань дает нам маленького флорентийца; сына резчика по дереву; в школе Томмазео есть римлянин, мальчик, родившийся в Риме. Венецианцев, ломбардов, жителей Романьи у нас много. В школе Монвизо есть неаполитанец, сын офицера. Мы дадим генуэзца и калабрийца — тебя, Корачи.

¹ Виктор-Эммануил II — король Пьемонта и первый король объединенной Италии.

Вместе с пьемонтцем вас будет как раз двенадцать. Ведь это великолепно, правда?

Таким образом ваши братья из всех областей Италии принесут вам ваши награды.

Подумайте, они появятся на трибуне все двенадцать вместе. Встретьте же их громкими рукоплесканьями. Вы еще мальчики, но будете представлять свои родные края, как взрослые люди: ведь маленький трехцветный флагок является таким же символом Италии, как большое трехцветное знамя!

Гордо приветствуйте его! Докажите, что и ваши маленькие сердца горят любовью к родине, что и вас, десяти- и двенадцатилетних мальчиков, воодушевляет священный символ вашей родины.

После этого директор ушел, а учитель сказал с улыбкой:

— Итак, Корачи, ты теперь у нас депутат от Калабрии.

Тогда мы все, смеясь, захлопали в ладоши, а когда вышли на улицу, то окружили Корачи, схватили его, подняли и понесли с триумфом, крича:

— Да здравствует депутат от Калабрии!

Всё это в шутку, конечно, но нисколько не в насмешку, а наоборот, чтобы показать, как мы все его любим и как он всем нам нравится; он улыбался. Так мы несли его до угла, где наткнулись на синьора с черной бородой, который при виде нас засмеялся.

— Это мой отец,— сказал наш маленький калабриец.

Тогда мальчики сдали его с рук на руки отцу, а сами рассыпались во все стороны.

РАЗДАЧА НАГРАД

Вторник, 14 марта

К двум часам огромный театр был уже полон; партер, галерея, ложи, сцена,— всё было полным-полно... тысяча лиц... мальчики, синьоры, учителя, рабочие, женщины, дети.

Непрерывно двигались головы и руки, колыхались перья, букеты, локоны, раздавался оживленный праздничный говор, от которого становилось весело.

Весь театр был убран красными, белыми и зелеными фестонами. Из партера на сцену вели две лестницы: по правой награждаемые должны были подниматься на сцену, а по левой — спускаться, получив награду. На сцене стоял ряд красных кресел, а на спинке среднего кресла висел лавровый венок. В глубине сцена была украшена знамёнами. С одной стороны стоял зеленый столик, на котором лежали премированные аттестаты, перевязанные трехцветными ленточками. Внизу, перед сценой, помещался оркестр. Учителя и учительницы занимали целую половину первой галереи, отведенной специально для них. Ска меечки и средний проход в партере были заняты мальчиками, которые должны были петь и держали в руках ноты. В глубине и вокруг всего зала учителя и учительницы устанавливали в шеренгу награждаемых, а вокруг суетились родители, которые в последний раз заботливою рукой приглаживали им волосы и расправляли банты.

Не успели мы войти в нашу ложу, как я увидел в ложе напротив учительницу с красным пером; она смеялась, и при этом на щеках у нее появлялись маленькие ямочки. С ней были учительница моего брата, «монахиня», вся в черном, и моя милая учительница первого класса,— но как она, бедняжка, побледнела, а кашляла она так сильно, что это было слышно на весь театр.

В партере я вдруг увидел милое лицо Гарроне и белокурую головку Нелли, который стоял, прижавшись к плечу своего товарища.

Немного дальше я различил Гароффи. Он страшно суетился, собирая списки учеников, получающих награду. У него уже была в руках целая пачка этих списков, и он, должно быть, собирался устроить с ними какую-нибудь сделку... о которой мы узнаем завтра. Около двери я увидел продавца дров с женой, празднично разодетых, вместе с Коретти, который получает третью награду. Я страшно удивился, не увидев на нем больше берета из кошачьего меха и шоколадной фуфайки. На этот раз он был одет как маленький синьор.

На одну минуту мелькнул передо мной на галерее Вотини, в большом кружевном воротнике, и исчез. В одной из лож, на

ходящейся у самой сцены и полной народа, я увидел капитана-артиллериста, отца Робетти.

Как только пробило два часа, засиграл оркестр, и в то же время по правой лестнице поднялись на сцену городской голова, префект, инспектор и много других синьоров, одетых в черное. Они уселись на красных креслах. Оркестр перестал играть. На сцену вышел директор школы пения с палочкой в руке. По его знаку все мальчики в партере встали, по другому знаку — начали петь. Их было несколько сот, и они пели чудесную песню. Сотни детских голосов пели, сливаясь воедино,— как это было красиво! Все замерли, слушая их. Это была нежная, ясная, медленная песня, похожая на церковный гимн. Когда они кончили, все захлопали, потом все стихло: началась раздача наград. На сцену вышел мой бывший учитель второго класса, с рыжей головой и живыми глазами; ему было поручено читать имена получающих награды.

Все ожидали выхода двенадцати мальчиков, которые должны были передавать аттестаты. В газетах уже писали, что это будут мальчики из всех провинций Италии. Все знали это и ожидали их выхода, с любопытством глядя в ту сторону, откуда они должны были появиться. Городской голова, другие синьоры и все присутствующие затаили дыхание. Вдруг на авансцену выбежали сразу все двенадцать мальчиков и, улыбаясь, выстроились в ряд. Весь театр, три тысячи человек поднялись, как один, и разразились рукоплесканиями, похожими на раскаты грома. На одно мгновение мальчики на сцене как будто смущались.

— Вот она, Италия! — раздался голос из ложи.

Это сказал отец Корачи, калабриец, как всегда одетый в черное.

В нашей ложе был один синьор, член городского совета, который знал всех мальчиков.

— Вот этот маленький блондин, — сказал он маме, — представитель Венеции. А этот, высокий и кудрявый, — римлянин.

Все мальчики были одеты хорошо и чисто.

У флорентийца, самого маленького мальчика, вокруг талии был завязан голубой шарф.

Потом все они прошли перед городским головой, который поцеловал каждого в лоб, в то время как сидевший рядом с ним синьор, улыбаясь, называл ему вполголоса города:

— Флоренция, Неаполь, Болонья, Палермо..¹

И каждый раз театр разражался рукоплесканиями.

Наконец мальчики побежали к зеленому столику за аттестатами, учитель начал читать список, называя школы, класс и имя, и награждаемые стали выходить на сцену.

Как только на сцену поднялись первые мальчики, справа послышалась музыка: тихо-тихо заиграли скрипки и продолжали играть всё время, пока длилась церемония.

Тем временем мальчики, получавшие премии, проходили один за другим перед сидящими в креслах синьорами, которые раздавали им аттестаты и каждого ободряли словом или улыбкой.

Ученики, сидевшие в партере или на галереях, хлопали каждый раз, когда выходил или очень маленький мальчик, или бедно одетый, или когда у кого-нибудь были красивые пышные локоны, или красный или белый костюм.

Многие малыши из первого класса, выйдя на сцену, смущались и не знали, в какую сторону повернуться, и тогда весь театр смеялся.

Один из них, совсем маленький, с большим красным бантом, завязанным сзади, едва шел и, споткнувшись о ковер, упал.

Тогда префект поднял его и поставил на ноги, а весь театр засмеялся и захлопал в ладоши.

Другой малыш скатился с лестницы вниз, в партер... послышались крики... но он не ушибся.

Получали награду мальчики самые разные на вид: с лукавыми лициками, с перепуганными мордашками, у одних были красные, как вишни, щёки, другие, маленькие, всё время смеялись. Не успевали они сойти в партер, как их подхватывали папы и мамы и уносили прочь.

А когда дошла очередь до нашей школы, вот-то было интересно! Почти всех, выходивших на сцену, я знал. Вот прошел

¹ Болонья — город в Центральной Италии. Палермо — главный город острова Сицилии.

Коретти, одетый с ног до головы во всё новое, весело улыбаясь и показывая свои белые зубы,—а кто знает, сколько дров он уже переносил сегодня утром! Городской голова, вручая ему аттестат, положил ему руку на плечо и спросил, что означает красное пятно у него на лбу.

Я искал глазами в партере его отца и мать и видел, как они смеялись, прикрывая рот рукой.

Потом вышел Деросси, в темно-синем костюме с блестящими пуговицами, со своими золотыми кудрями, стройный, не-принужденный, с высоко поднятой головой, такой красивый и милый, что так бы и расцеловал его, и все синьоры хотели сказать ему несколько слов и пожать руку.

Потом учитель вызвал: «Джулио Робетти!»— и мы увидели, как вышел, опираясь на костили, сын артиллерийского капитана. Сотни мальчиков знали о его подвиге, рассказ о нем в одно мгновение облетел весь театр, раздался взрыв аплодисментов, послышались крики, так что задрожала вся зала, публика встала, синьоры стали махать носовыми платками, и мальчик, смущенный, остановился посреди сцены... Городской голова привлек его к себе, дал награду, поцеловал и, сняв со спинки кресла лавровый венок, повесил его на поперечину костиля... Потом он довел Робетти до ложи, выходящей на сцену, где сидел капитан, его отец: тот поднял мальчика на руки и поставил в свою ложу, под оглушительные крики: «Браво!» и «Молодец!»

И всё время раздавалась тихая и нежная игра скрипок, и мальчики продолжали проходить и получать награды.

Вот ученики школы Мадонны-Утешительницы, почти все дети торговцев. Вот мальчики из школы «Ванкилья», сыновья рабочих. В школе Бонкомпань большинство — дети крестьян. Вот ученики школы Раниери, которые завершают список.



Как только прошел последний ученик, семьсот мальчиков в партере снова запели чудесную старинную песню. Затем выступил с речью городской голова, а после него — инспектор.

Он закончил, обратившись к мальчикам, следующими словами:

— Но мы не выйдем отсюда, не поздравив тех, которые так много делают для вас, которые посвятили вам все силы своего ума и сердца, которые живут и умирают ради вас. Вот они! — И он указал на галерею учителей.

И тогда на галерееях, в ложах, в партере все мальчики встали и с криком протянули руки к своим учителям и учительницам, а те в ответ поднялись и оживленно замахали руками, шалками и платками. После этого опять заиграл оркестр, и публика послала последний шумный привет двенадцати мальчикам из всех провинций Италии, которые, взявшись за руки, вышли на авансцену и стояли, осыпаемые градом цветочных букетиков.

ССОРА

Понедельник, 20 марта

Нет, совсем не из-за того, что он получил награду, а я нет, поссорился я сегодня утром с Коретти.

Нет, не из зависти, но сознаюсь, что я был неправ.

Учитель велел Коретти сесть рядом со мной. Я писал в тетради по чистописанию, вдруг он толкнул меня локтем, и я посадил кляксу и запачкал ежемесячный рассказ «Горячая кровь», который я переписывал вместо заболевшего Кирпичонка. Я рассердился и выругал Коретти, а он с улыбкой ответил мне: «Я это сделал не нарочно». Конечно, он сделал это не нарочно, ведь я хорошо знаю его, но мне не понравилась его улыбка, и я подумал: «Ну вот, теперь, когда он получил награду, он начнет задирать нос» — и немного погодя, чтобы отомстить ему, я так толкнул его, что он измял страницу своей тетради. Тогда он, весь красный от гнева, сказал мне: «А ты сделал это нарочно!» — и поднял руку, но тут на нас посмотрел

учитель, и рука Коретти опустилась. «Мы встретимся с тобой на улице», — прибавил он.

Мне стало не по себе, досада моя прошла, и я начал раскаиваться. «Нет, Коретти не мог сделать этого нарочно, — думал я, — он хороший». Я вспомнил, как был у него дома, как он работал, как ухаживал за своей больной матерью, как я радовался, когда он пришел ко мне, и как он понравился моему отцу. Как бы я хотел теперь вернуть обратно свои грубые слова, чего бы я не дал, чтобы ничего этого не случилось! Я подумал о том, что мне всегда советовал отец: «Ты был неправ?» — «Да». — «Тогда попроси прощения». Но на это я не мог решиться, — мне было стыдно, мне казалось, что это унизит меня. Я исподтишка посматривал на Коретти, видел его фуфайку, распоровшуюся на плече от постоянной носки дров, чувствовал, что очень люблю его, и говорил себе: «Ну, смелей!» — но слова «прости меня» застревали у меня в горле. Время от времени Коретти искоса поглядывал на меня, и мне казалось, что он больше огорчен, чем сердит. Тогда я тоже косо посмотрел на него, чтобы показать, что николько не боюсь. Он повторил: «Так, значит, мы встретимся с тобой на улице», — и я подтвердил: «Да, мы встретимся на улице». Но в то же время я думал о том, что мне однажды сказал мой отец: «Если ты неправ, защищайся, но не бей сам!» И я повторил про себя: «Я буду защищаться, но сам не ударю Коретти».

Я был недоволен собой, мне было грустно, я больше не слушал, что говорил учитель. Наконец занятия окончились. Когда я остался один на улице, то увидел, что Коретти идет за мной следом. Я остановился и стал ждать его, стиснув в руке линейку. Он подошел... я поднял линейку...

— Нет, Энрико, — сказал он со своей ясной улыбкой, отводя линейку в сторону, — будем, как прежде, друзьями.

Одно мгновение я стоял пораженный, а потом как будто чья-то рука толкнула меня в спину, и я оказался в его объятиях. Он поцеловал меня и сказал:

— Не будем никогда больше ссориться, хорошо?

— Никогда! Никогда! — ответил я.

И мы расстались, счастливые.

Когда я пришел домой и рассказал обо всем моему отцу, то думал, что он будет доволен мной, однако он нахмурился и заметил:

— Это ты должен был первый протянуть ему руку, так как ты был виноват.— Потом он прибавил:— И ты не должен был поднимать линейку на товарища, который лучше тебя, да к тому же еще сын солдата!

И, вырвав у меня линейку из рук, он сломал ее нáдво и швырнул ее так, что обломки ударились о стену.

ГОРЯЧАЯ КРОВЬ

(ежемесячный рассказ)

В этот вечер в доме, где жил Ферруччо, было гораздотише, чем обычно. Его отец, владелец маленькой галантерейной лавочки, уехал за покупками в город Форли, вместе с ним поехала его жена и повезла маленькую Луиджину, которой нужно было оперировать больной глаз. Они должны были вернуться только на следующее утро.

Время приближалось к полуночи. Женщина, которая приходила помогать по хозяйству, ушла с наступлением сумерек, и в доме оставались только бабушка с парализованными ногами и тринадцатилетний мальчик Ферруччо.

Домик был небольшой, одноэтажный, и стоял он на шоссе, на расстоянии ружейного выстрела от деревни, лежащей недалеко от Форли, одного из городов Романьи.

Поблизости находился только один, пустой дом, два месяца тому назад пострадавший от пожара; над дверью дома еще можно было видеть трактирную вывеску.

За домиком, принадлежавшим отцу Ферруччо, был небольшой огород, окруженный забором. В этот огород вела из дома маленькая, грубо сколоченная дверца. Другая дверь, выходившая на шоссе, служила одновременно входом и в лавку и в дом. Кругом простиралась пустынная равнина, безграничные пахотные поля; среди них то здесь, то там возвышались тутовые деревья.

Время приближалось к полуночи, шел дождь и дул ветер. Ферруччо и бабушка еще не легли спать и сидели в кухне; которая служила одновременно и столовой. Позади имелась еще комната, с выходом на огород; эта комната была заставлена старой мебелью.

Ферруччо вернулся домой только в одиннадцать часов, после долгого отсутствия, так что бабушка все глаза проглядела, ожидая его и сильно волнуясь. Обычно она проводила весь день, а часто и всю ночь, в большом кресле, так как удушье не давало ей лежать спокойно.

Лил дождь, свистал ветер, и потоки воды стекали по стеклам окон. Было совершенно темно. Ферруччо вернулся домой усталый, грязный, в разорванной куртке и с багровой шишкой на лбу. Сначала он и его товарищи швыряли друг в друга камнями, потом дело дошло, как обычно, до рукопашной; добавок он проиграл все свои деньги и берет ее остался в канаве.

Хотя кухня освещалась только небольшой лампочкой, стоявшей на краю стола, возле бабушкиного кресла, бедная старушка сразу заметила, в каком жалком виде вернулся ее внук, и частью угадала его похождения, частью заставила его самого сознаться в своих проделках.

Бабушка горячо любила Ферруччо, и когда она обо всем узнала, то принялась молча и горько плакать.

— Нет,— сказала она, наконец, после долгого молчания,— ты, видно, совсем не любишь свою бедную бабушку. Как ты мог воспользоваться отсутствием отца и матери, чтобы доставить мне столько огорчений! Ты бросил меня одну на целый день! Неужели же у тебя в душе нет чувства жалости? Смотри, Ферруччо, ты ступил на плохую дорогу, которая приведет тебя к дурному концу. Я видела, как многие начинали так же, как ты, и потом плохо кончали. Сначала это отлучки из дома, драки с другими мальчиками, проигрыши... потом мало-помалу от камней переходят к ножам, от игры — к другим порокам, а от пороков... к воровству.

Ферруччо стоял в трех шагах от бабушки, прислонившись к буфету, еще весь разгоряченный от драки, и слушал, опустив

голову на грудь. Прядь каштановых волос падала ему на лоб, и голубые глаза смотрели неподвижно.

— Да, от игры переходит к воровству,— повторила бабушка, не переставая плакать.— Подумай об этом, Ферруччо, вспомни о позоре нашей деревни — о Вито Модзони, который ушел в город и стал бродягой. В двадцать четыре года он уже два раза сидел в тюрьме, его бедная мать умерла от горя, а отец в отчаянье бежал в Швейцарию. Вспомни об этом несчастном, Ферруччо! Я знала его еще мальчиком, и он начинал совершенно так же, как ты. Подумай, что ты можешь довести своего отца и мать до такого же ужасного конца!

Ферруччо молчал. По существу он был далеко не плохой мальчик, совсем наоборот: все его выходки вытекали скорее от чрезмерной живости характера и смелости, чем от дурных склонностей. В жилах его текла горячая романьольская кровь. Отец Ферруччо понимал это и смотрел на проделки сына сквозь пальцы, зная, что в глубине души он — хороший мальчик и способен, при случае, действовать решительно и благородно. Поэтому отец не очень держал его в руках и ожидал, что в конце концов Ферруччо сам образумится. В нем было заложено больше хорошего, чем плохого, но он был очень упрям, и даже когда горячо в чем-нибудь раскаивался, не мог заставить себя произнести те слова, которые приводят к прощению: «Да, я виноват, я никогда не буду больше так делать, обещаю тебе это, прости меня». Каждый раз сердце его было полно любви и раскаянья, но гордость не давала ему высказать этого вслух.

— Ах, Ферруччо,— продолжала бабушка, видя, что он молчит,— неужели у тебя не найдется ни одного слова сожаления? Ты видишь, в каком я состоянии; скоро, наверное, меня похоронят. Как у тебя хватает жестокости так мучить меня? Ведь я твоя бабушка, мать твоей матери, я так стара, что близок уже мой последний день. А как я любила тебя, Ферруччо! Когда ты был совсем маленьkim, я целыми ночами качала тебя в колыбельке и отказывала себе в куске хлеба, чтобы только побаловать тебя. Я всегда говорила себе, что ты будешь моим утешением в старости. А теперь ты сводишь меня в могилу! Я охотно отдала бы немногие оставшиеся мне дни, только бы

снова увидеть тебя хорошим, послушным, каким ты был в те годы, когда я водила тебя гулять в Сантуарио. Помнишь, Ферруччо? Тогда ты наполнял мне карманы камешками и травками, а потом я на руках приносила тебя домой, заснувшего от усталости. Вот когда ты на самом деле любил свою бедную бабушку. А теперь, когда я разбита лараличом, твоя любовь нужна мне как воздух для дыхания, потому что у меня ничего больше не осталось в жизни, я бедная старуха, одной ногой уже в могиле... о боже мой!

Ферруччо, побежденный охватившим его чувством, хотел было броситься в объятия к бабушке, как вдруг ему показалось, что он слышит легкий стук в соседней комнате.

Он прислушался.

Лил дождь.

Стук повторился, и на этот раз бабушка тоже услышала его.

— Что это? — спросила она с тревогой.

— Дождь... — пробормотал мальчик.

— Так вот, Ферруччо, — продолжала старушка, вытирая глаза, — обещай мне, что ты будешь хорошим, что ты никогда больше не заставишь плакать твою бедную бабушку...

Новый легкий шум заставил ее умолкнуть.

— Но это не похоже на дождь, — воскликнула она, бледнея. — Поди-ка взгляни! — Но тут же прибавила: — Нет, оставайся здесь, — и схватила мальчика за руку.

Оба затаили дыхание, но слышали только шум падающей воды.

Вдруг они вздрогнули: обоим почудились шаги в соседней комнате.

— Кто там? — спросил Ферруччо, с трудом выдавливая из себя слова.

Никто не ответил.

— Кто там? — снова спросил Ферруччо, холodeя от страха.

Но не успел он произнести этих слов, как оба, и внук и бабушка, закричали от ужаса, — в комнату вошли двое мужчин. Один из них бросился к мальчику и зажал ему ладонью рот, другой схватил старуху за горло. Первый сказал:

— Ни слова, если тебе дорога жизнь!

— Молчать! — прибавил другой и поднял нож. Лица у обоих были закрыты черными масками с двумя дырками для глаз.

В комнате слышно было только тяжелое дыхание четырех человек и шум падающего дождя.

Тот, который держал Ферруччо, сказал ему на ухо:

— Где твой отец держит деньги?

Мальчик, стуча зубами, еле слышно ответил:

— Там, в шкафу.

— Иди покажи, — приказал мужчина и, продолжая держать мальчика за горло, потащил его в заднюю комнату, где на полу стоял потайной фонарь.

— В каком шкафу?

Ферруччо, задыхаясь, указал на шкаф. Тогда, чтобы мальчик не помешал ему, бандит бросил его на колени перед шкафом и зажал ему шею между ног. Потом, держа нож в зубах и потайной фонарь в одной руке, бандит другой рукой достал из кармана заостренную железку, вставил ее в замок, сломал его, распахнул дверцы шкафа, перерыл все внутри, набил себе карманы, закрыл дверцы, затем снова распахнул их, еще раз все обшарил, опять схватил мальчика за горло и снова втолкнул его в кухню, где другой бандит все еще стискивал горло бабушки.

— Нашел? — спросил шепотом второй разбойник.

— Нашел, — ответил первый и прибавил: — Посмотри-ка, что делается за дверью.

Человек, который душил старуху, бросился к двери на огород, увидел, что поблизости никого нет, и сказал шепотом, почти прошипел:

— Идем.

Тот, который оставался в кухне и еще держал Ферруччо, показал нож мальчику и старухе, которая снова открыла глаза, и сказал:

— Если кто-нибудь из вас крикнет, я вернусь и зарежу его!

При этом он пристально посмотрел на обоих.

В эту минуту далеко на шоссе послышалось пение нескольких голосов.

Вор быстро повернулся голову к двери, и от этого резкого

движения маска упала у него с лица. У старухи вырвался крик:

— Модзони!

— Проклятие! — прорычал узнанный разбойник. — Так умри же! — и он бросился с поднятым ножом на старуху, которая от страха потеряла сознание. Убийца нанес удар.

Но в то же мгновение Ферруччо, с отчаянным криком, одним прыжком кинулся к бабушке и прикрыл ее своим телом. Убийца, убегая, толкнул стол. Лампа упала и погасла.

Мальчик медленно склонился к бабушке, соскользнув на колени и так и остался, обняв ее и положив голову ей на грудь.

Прошло несколько мгновений. В комнате было совершенно темно. Пение крестьян замирало в далеких полях. Бабушка пришла в себя.

— Ферруччо! — позвала она еле слышным голосом.

— Бабушка! — ответил ей мальчик.

Старушка силилась заговорить, но ужас все еще сковывал ее язык. Прошло некоторое время в молчании, потом она спросила, дрожа от страха:

— Они ушли?

— Да.

— Они меня не убили, — пробормотала старуха прерывающимся голосом.

— Нет... вы спасены, — тихо ответил ей Ферруччо. — Вы спасены, дорогая. Они унесли деньги, но отец... взял с собой в город почти все, что у него было.

Бабушка облегченно вздохнула.

— Бабушка, — продолжал Ферруччо, не поднимаясь с колен, — милая бабушка, ведь вы меня любите, правда?

— Ах, Ферруччо, мой бедный мальчик, — ответила старушка и положила ему руки на голову, — как ты, должно быть, испугался! О боже милосердный! Зажги-ка свет... нет, не надо, мне все еще страшно.

— Бабушка, — снова повторил мальчик, — я так часто огорчал вас...

— Нет, Ферруччо, не говори этого, я не помню об этом больше, я все забыла, я так тебя люблю!

— Я всегда огорчал вас, — с трудом, дрожащим голосом про-

должал Ферруччо,— но... я всегда любил вас. Вы больше не сердитесь на меня? Простите меня, бабушка.

— Да, мой мальчик, я прощаю тебя, прощаю от всего сердца. Как же я могу не простить тебя? Но встань с колен, мой милый. Я никогда больше не буду бранить тебя. Ведь ты у меня хороший, ты очень хороший! Давай теперь зажжем свет, не надо больше бояться. Вставай, Ферруччо.

— Спасибо, бабушка,— отвечал мальчик слабеющим голосом,— теперь... я счастлив. Ведь вы не забудете меня, бабушка... правда? Вы всегда будете помнить меня... вашего Ферруччо?

— Мальчик мой!— воскликнула старушка с удивлением и тревогой, кладя ему руки на плечи и наклоняясь, чтобы заглянуть ему в лицо.

— Вспоминайте меня,— повторил Ферруччо голосом, слабым, как вздох,— поцелуйте от меня маму... отца... Луиджину... Прощайте, бабушка...

— Боже мой, что же это с тобой?— закричала старушка, тревожно ощупывая голову внука. Потом, изо всех сил, которые у нее еще оставались, она отчаянно крикнула:

— Ферруччо! Ферруччо! Ферруччо! Сынок мой! Любовь моя! Ангелы небесные, помогите мне!

Но Ферруччо не отвечал больше. Пораженный ножом в спину, он умер, спасая жизнь своей бабушки. Как настоящий герой, пролил маленький романьюлец свою горячую кровь.

БОЛЕЗНЬ КИРПИЧОНКА

Вторник, 21 марта

Бедный Кирпичонок тяжело заболел. Наш учитель сказал, чтобы мы пошли навестить его, и мы решили отправиться к нему втроем: Гарроне, Деросси и я.

На всякий случай мы спросили нашего надутого Нобиса, не хочет ли и он пойти вместе с нами, но он кратко ответил:

— Нет.

Вотини тоже отказался, может быть из страха запачкать известкой свой костюмчик.

Мы отправились в четыре часа, после окончания уроков. Дождь лил, как из ведра.

На улице Гарроне остановился и спросил, не переставая, как всегда, жевать кусок хлеба:

— Что же мы купим больному? — При этом он позывкивал в кармане двумя сольдо.

Мы все сложились по два сольдо и купили Кирпичонку три больших апельсина.

Нам пришлось подняться на самый чердак. Прежде чем войти, Деросса снял свою медаль и положил ее в карман. Я спросил у него, для чего он это делает.

— Я сам не знаю, — отвечал он, — чтобы не выглядеть... мне кажется, лучше войти без медали.

Мы постучали. Нам открыл отец Кирпичонка, огромный мужчина, похожий на великана. Лицо его было мрачно, и он казался испуганным.

— Кто вы такие? — спросил он.

— Мы школьные товарищи Антонио и принесли ему три апельсина, — ответил Гарроне.

— Ах, бедный мой Тонино, — воскликнул каменщик, грустно качая головой, — боюсь, что ему не придется попробовать ваших апельсинов! — и он вытер себе глаза тыльной стороной руки. Потом он пропустил нас впереди себя в комнату. Это была мансарда под самой крышей.

Мы вошли и увидели Кирпичонка, который спал на узкой железной кроватке. Его мать сидела, склонившись над ним и закрыв лицо руками. Она еле взглянула в нашу сторону. На одной из стен висели кисти, кирка и решето для известки. Ноги больного были прикрыты курткой каменщика, белой от гипса.

Бедный мальчик очень похудел, лицо у него было совсем белое, нос заострился, и он тяжело дышал.

Ах, милый мой Тонино, мой маленький товарищ, всегда такой живой и веселый, как мне было грустно смотреть на него. Чего бы я не дал, чтобы снова увидеть, как он строит «заячью мордочку», бедный наш Кирпичонок!

Гарроне положил один из апельсинов на подушку рядом с лицом больного. Запах разбудил его, он схватил было апель-

син, но тут же выпустил его и пристально посмотрел на Гарроне.

— Это я,—сказал тот,— Гарроне: ты узнаёшь меня?

Больной улыбнулся еле заметной улыбкой, с трудом приподнял свою маленькую руку и протянул ее Гарроне. Тот взял ее в свои руки и прижал к щеке, говоря:

— Ничего, держись, Кирпичонок, ты скоро поправишься и снова вернешься в школу, а учитель посадит тебя рядом со мной, хочешь?

Но Кирпичонок ничего не ответил.

Тут мать его заплакала:

— Ах, бедный, бедный мой Тонино, такой хороший и добрый, а вот теперь бог хочет отнять его у нас!

— Молчи!—крикнул в отчаянье каменщик,— молчи, ради всего святого, или я не знаю, что сделаю!

Потом он с тревогой обернулся к нам:

— Ступайте, ступайте теперь, мальчики; спасибо вам, но ступайте... Ну что вам здесь делать? Спасибо; идите себе домой.

Кирпичонок снова закрыл глаза и лежал совсем неподвижно.

— Не можем ли мы помочь вам?—спросил Гарроне.

— Нет, сынок, спасибо,— отвечал каменщик,— идите домой.

С этими словами он вывел нас на лестницу и закрыл за вами дверь. Но не успели мы спуститься до половины, как он закричал:

— Гарроне! Гарроне!

Мы все трое снова бросились наверх.

— Гарроне!—кричал каменщик с изменившимся лицом,— он назвал тебя по имени, а он уже два дня, как ничего не говорил. Он два раза позвал тебя, он хочет тебя видеть, иди скорей. Ах, господи, только бы это было хорошим знаком!

— До свиданья, я остаюсь здесь,— сказал нам тогда Гарроне и бросился в комнату вместе с отцом Кирпичонка.

— Он начал говорить, он поправится,— обрадовался я.

— Конечно,— отвечал мне Деросси, но сейчас я думаю не о нем.. я думаю о том, какой хороший наш Гарроне.

Апрель

ВЕСНА

Суббота, 1 апреля

Первое апреля! Еще только три месяца осталось нам учиться! Сегонышнее утро было одним из самых счастливых в моей жизни. Во-первых, мама обещала взять меня с собой в детский приют на улице Вальдокко. Во-вторых, Кирпичонку лучше; вчера вечером, проходя мимо нас, учитель сказал моему отцу:

— Дело идет на лад, Антонио поправляется.

А потом сегодня такое прекрасное весеннее утро! Из окон школы нам видно и голубое небо, и деревья школьного сада, сплошь покрытые почками, и открытые окна соседних домов, на которых уже зеленеют ящики и горшки с растениями.

Наш учитель не смеется, как мы,— потому что он никогда не смеется,— но он в таком хорошем настроении, что на лбу у него почти совсем разгладилась глубокая прямая морщина, и он шутил, когда, стоя у доски, объяснял нам геометрическую задачу. Видно было, что он с наслаждением дышит воздухом, который вливался в класс через открытые окна из сада, донося до нас здоровый свежий запах земли и листьев и заставляя мечтать о поездке в деревню.

Пока учитель объяснял нам задачу, мы слышали, как на соседней улице кузнец ударял молотом по наковальне, а в доме напротив женщина пела колыбельную песню, убаюкивая ребенка. Далеко в казармах на улице Чернайя играли трубы.

Все казались довольными, даже Старди. Наступила минута, когда кузнец стал ударять своим молотом сильнее, а женщина запела громче. Тогда наш учитель прервал свои объяснения и прислушался.

Потом он медленно сказал, глядя в окно:

— Небо улыбается, мать поет, труженик работает, мальчики учатся... как это всё хорошо!

Когда мы вышли из класса, то заметили, что всем другим тоже весело. Все шли бодро и напевали, как в последний день перед каникулами. Учителя шутили; учительница с красным пером на шляпе подпрыгивала позади своих малышей, как школьница; родители, смеясь, разговаривали друг с другом, а у зеленщицы, матери Кросси, было в корзинах столько фиалок, что они наполняли своим ароматом всю залу. Никогда раньше не испытывал я такого счастья при виде мамы, поджидавшей меня на улице, как в это прекрасное утро. Я побежал к ней навстречу, крича:

— Как я счастлив! Но что же делает меня таким счастливым сегодня?

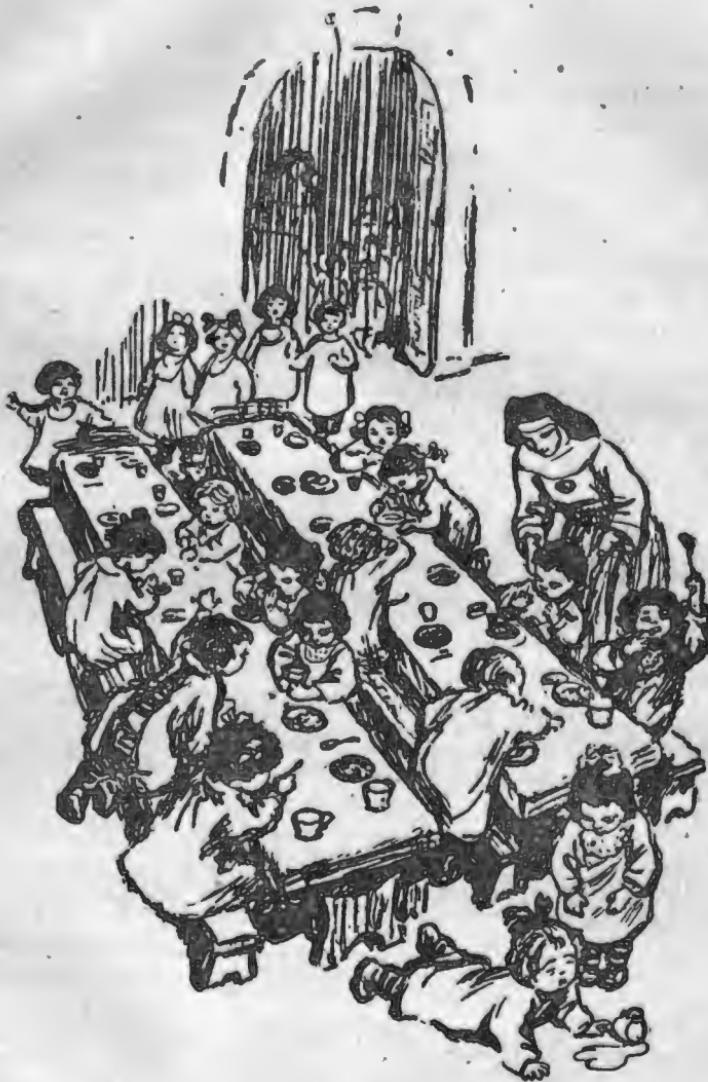
И мама с улыбкой ответила мне, что это весенняя погода и чистая совесть.

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ

Вторник, 4 апреля

Вчера мама, как и обещала, взяла меня с собой после завтрака в детский приют на улице Вальдокко, чтобы попросить начальницу принять туда маленькую сестренку Прекосси. Я никогда раньше не видел детского приюта, и поэтому мне всё было очень интересно. В приюте двести мальчиков и девочек, таких маленьких, что наши младшие первоклассники показались бы рядом с ними совсем взрослыми.

Мы пришли как раз в ту минуту, когда дети входили в столовую. Посередине этой столовой стояло два длинных стола с массой круглых углублений, в каждое из которых была вставлена мисочка с рисом и фасолью, а рядом лежала оловянная ложка.



Некоторые малыши останавливались, войдя, как вкопанные, словно прирастали к полу, пока не прибегали учительницы и не уводили их дальше. Многие подходили к ближайшей мисочке, принимая ее за свою, и уже успевали проглотить ложечку, когда появлялась учительница и говорила: «Иди дальше!» А дальше, через каждые три или четыре шага, малыш снова останавливался и умудрялся проглотить еще ложечку, так что, когда он доходил до своего места, то успевал уже склевать потихоньку добрых полпорции каши.

В конце концов, подталкивая ребятиншек и покрикивая: «Скорее, скорее!»— удалось усадить всех по местам.

Тогда началась молитва. Но те малыши, которым при этом пришлось стать спиной к своим мисочкам, оборачивались назад и смотрели, как бы кто-нибудь не полакомился их долей. Так они и молились, сложив ручонки и подняв глаза к небу, но думая о своей каше.

Потом они начали есть. Вот забавно было смотреть на них! Один ел сразу двумя ложками, другой набивал себе рот руками; многие брали фасолинки одну за другой и запихивали их в карманы; другие, наоборот, завязывали фасоль в уголки передников и давили ее, чтобы превратить в пюре. Многие забывали, что нужно есть, следя глазами за пролетающими муухами, а некоторые, поперхнувшись, осыпали все вокруг себя дождем риса.

Как красиво выглядели девочки с волосами, завязанными на макушке красными, зелеными и голубыми ленточками.

Одна учительница спросила у группы из восьми девочек:

— Где растет рис?

Все восемь открыли рты, полные каши, и протянули:

— Рас-тет в во-де.

Потом учительница скомандовала:

— Руки вверх!

И как красиво было, когда вдруг поднялось столько ручонок, которые всего несколько месяцев тому назад были еще в пеленках, а теперь трепетали в воздухе, похожие на белых и розовых бабочек.

Потом дети взяли свои корзиночки, висевшие на стене, и вы-

шли. Они разбрелись по саду и стали доставать из корзиночек свои припасы: хлеб, вареные сливы, кусочки сыра, крутые яйца, мелкие яблоки, пригоршню вареного гороха, куриное крыльшко. В одно мгновение весь сад оказался покрыт крошками, как будто бы рассыпали корм для целой стайки птиц. Детишки ели самым странным образом, как кролики, мышки, кошки,— они грызли, лизали, сосали. Один мальчик прижал к груди сухарик и водил по нему ломтиком яблока, словно начищал саблю.

Некоторые девочки сжимали в кулаках кусочки мягкого сыра, так что он проступал у них между пальцами, как молоко, и тек им за рукава, а они даже не замечали этого. Я видел, как три малыша расковыряли прутиком крутое яйцо, будто ожидая найти в нем сокровище, уронили его на землю, а потом старательно собирали крошки. Вокруг тех, у кого было что-нибудь необыкновенное, собиралось по восемь или десять ребятишек, и, наклонив головы, разглядывали, что же там, в корзиночке, с таким же интересом, как смотрели бы на луну, отражающуюся в колодце.

Около двадцати малышей стояли вокруг одного карапуза, в руках у которого был кулек с сахарным песком, и все просили, чтобы он позволил им обмакнуть в сахар свой кусочек хлеба; одним он разрешал это, а другим позволял опустить в кулек только палец, чтобы потом обсосать его.

Мама тоже вышла в сад и стала ласкать то одного, то другого ребенка. Многие побежали ей навстречу, другие бросились за ней следом, и каждый хотел, чтобы она его поцеловала. При этом малыши так поднимали вверх свои рожицы, как будто глядели на окна третьего этажа.

Один протягивал маме надкусанную дольку апельсина, другой — кусочек сухарика. Одна девочка подарила ей листик, другая, со страшно серьезным видом, показала ей кончик своего указательного пальца, где, если хорошенько взглянуться, можно было заметить маленькую припухлость, знак того, что накануне она дотронулась до пламени свечи.

Детишки показывали, словно это были большие сокровища, крошечных насекомых, которых непонятно каким образом они

умудрились увидеть и поймать, кусочки пробок, пуговки от рубашек, цветочки, выпавшие из вазы. Один мальчик с забинтованной головой во что бы то ни стало хотел, чтобы мама его выслушала, и заикаясь рассказал ей историю о каком-то падении вниз головой, в которой нельзя было разобрать ни слова.

Другой малыш потребовал, чтобы мама нагнулась к нему, и шепнул ей на ухо:

— Мой отец делает щетки.

В то же самое время то здесь, то там происходили тысячи «несчастий» и к детишкам на помощь спешили учительницы: девочки плакали, одни — потому что им никак не удавалось развязать узелок на платке, другие, царапаясь и крича, не могли поделить двух семечек от яблока.

Один маленький мальчик упал лицом вниз, прямо на перевернутую скамеечку, и плакал, лежа на ней, не в силах подняться.

Прежде чем уйти домой, мама посадила троих или четверых себе на колени, и тогда со всех сторон стали сбегаться малыши, чтобы она и их взяла на руки. Мордашки у них были вымазаны яичным желтком и апельсинным соком, одни брали маму за руку, другие за палец, чтобы лучше рассмотреть колечко, этот тянул за часовую цепочку, тот обязательно хотел коснуться ее волос.

— Смотрите,— говорили учительницы,— они испортят вам платье.

Но мама не заботилась о своем платье и продолжала целовать малышей, которые сбегались со всех сторон. Ближайшие протягивали к ней ручонки, как будто хотели навсегда приститься к ней, те, которые оказались дальше, старались пробыться поближе, и все кричали:

— До свиданья! До свиданья! До свиданья!

Наконец маме удалось вырваться из сада, и тогда дети побежали к решетке и прижались лицами к ее железным прутьям, чтобы еще раз увидеть маму, когда она будет проходить мимо. Они высовывали наружу ручонки, чтобы помахать ма-

ме, протянуть ей сухарик, кусочек яблока, корочку сыра. Одновременно они все хором кричали:

— До свиданья! До свиданья! Приходи завтра снова! Приходи к нам опять!

Мама, убегая от них, успела в последний раз ласково пройти рукой по всей сотне протянутых к ней сквозь решетки лапок, и в конце концов вырвалась на улицу, запачканная и вся в крошках, измятая и растрепанная, с руками, полными цветов, и глазами, полными слёз, но радостная, как после большого праздника.

А позади нас всё еще слышались голоса, похожие на громкое чирканье птичьей стайки:

— До свиданья! До свиданья! Приходи к нам еще раз, синьорà!

НА УРОКЕ ГИМНАСТИКИ

Среда, 5 апреля

Погода установилась прекрасная, и наши уроки гимнастики перенесли из залы в сад, на снаряды.

Вчера Гарроне находился в кабинете директора, когда туда вошла мать Нелли, белокурая, одетая во всё черное синьора, и попросила, чтобы ее сына освободили от этих новых упражнений. Видно, что ей очень тяжело было говорить это, и одну руку она всё время держала на голове своего сына.

— Да, он не сможет... — начал директор, но Нелли страшно огорчился, что его отстраняют от упражнений на снарядах, что ему приходится переживать еще одно унижение...

— Вы увидите, мама, — сказал он, — я сумею всё проделать не хуже других.

Мать посмотрела на него молча, с жалостью и грустью, потом нерешительно произнесла:

— Я боюсь, как бы его товарищи... — Она хотела сказать: «Я боюсь, как бы его товарищи не стали смеяться над ним».

Но Нелли возразил:

— Я не буду обращать на них внимания, а потом ведь у меня есть Гарроне. Лишь бы он не смеялся.

И вот Нелли разрешили заниматься гимнастикой на снарядах.

Учитель, тот, у которого шрам на шее и который был в войске Гарибальди, сразу же повел нас к очень высокому турнику: мы должны были влезть на него по одному из столбов, а потом стать во весь рост на перекладине.

Деросси и Коретти вскарабкались на турник, как две обезьянки; маленький Прекосси также влез на него быстро, хотя и был одет в доходившую до колен курточку, и чтобы рассмешил его, пока он карабкался вверх, все повторяли его любимое выражение: «Прости, пожалуйста!»

Старди пыхтел, покраснел, как индюк, стиснул зубы, готов был лопнуть, лишь бы добраться до верху, и действительно добрался до него.

Нобис тоже, но когда он оказался наверху и поднялся во весь рост, то стал в ~~в~~позу императора.

А Волини, несмотря на специально сшитый для гимнастики костюм с голубыми полосками, два раза соскальзывал по столбу вниз.

Для того чтобы легче было взбираться, все мы натерли себе ладони канифолью, которую достал нам Гарофи; он продавал пакетики с порошком канифоли за одно сольдо, наживая каждый раз еще столько же.

Когда пришла очередь Гарроне, он вышел вперед, спокойно жуя кусок хлеба, и я думаю, что он мог бы влезть на турник, посадив себе кого-нибудь из нас на плечи, такой он коренастый и сильный, совсем как молодой бычок.

После Гарроне была очередь Нелли. Как только он взялся за столб своими тонкими и длинными руками, многие мальчики засмеялись и зашептались, но Гарроне скрестил на груди свои огромные руки, выразительно посмотрел кругом и совершенно ясно дал понять, что он не задумается пустить в ход кулаки, несмотря даже на присутствие учителя, так что всякий смех моментально прекратился.

Нелли начал карабкаться вверх; он старался, бедняжка, покраснел, как мак, тяжело дышал, и при этом пот так и катился у него со лба.

Учитель сказал ему:

— Спускайся, довольно!

Но Нелли не хотел спускаться, он упорствовал, он напрягал все свои силы. Мне казалось, что он вот-вот упадет без чувств на траву.

Бедный Нелли! Подумать только, как было бы ужасно, если бы я был таким, как он, и меня увидела бы сейчас моя мать, как ей, бедной, было бы тяжело! И пока я думал об этом, я от всего сердца желал Нелли удачи, я не знаю, что отдал бы за то, чтобы он, наконец, добрался до верху, мне хотелось стать невидимкой, чтобы помочь ему, подтолкнуть его снизу.

Тем временем Гарроне, Деросси, Коретти приговаривали:

— Так, так, Нелли, смелей, еще немножко, молодец!

И Нелли, сделав еще одно усилие, оказался на два перехвата от перекладины.

— Браво! — закричали тогда и остальные мальчики. — Хорошо! Оттолкнись еще разочек!

И вот Нелли схватился за перекладину.

Тут все захлопали в ладоши.

— Молодчина! — сказал учитель, — а теперь довольно, спускайся вниз.

Но Нелли хотел влезть на самый верх, как и другие, и после новых усилий ему удалось сначала закинуть на перекладину локти, потом колени, потом ноги и, наконец, встать на ней во весь рост. Тогда, тяжело дыша и улыбаясь, он посмотрел на нас. Мы принялись хлопать в ладоши, а Нелли взглянул в сторону улицы. Я тоже повернулся туда и сквозь растения, обвивающие решетку сада, увидел его мать, которая шла по тротуару, не смея поднять глаз. Нелли спустился с турника, и все его радостно приветствовали. Он был возбужден, весь порозовел, глаза у него блестели, и он сам не походил на себя.

Потом, при выходе из школы, когда мать встретила Нелли и с тревогой спросила, обнимая его: «Ну как, мой сыночек, как прошел урок гимнастики?» — все товарищи ответили хором:

— Он всё прекрасно сделал! Он залез на турник, так же как и мы! Вы знаете, он сильный! Он ловкий! Он всё проделал не хуже других,

Надо было видеть тогда радость маленькой белокурой синьоры! Она хотела поблагодарить нас... и не могла. Она пожала руки двум или трем мальчикам, погладила Гарроне по плечу, обернулась к своему сыну, и через некоторое время мы увидели, как они быстро шли рядом, оживленно говоря о чем-то и размахивая руками, оба такие счастливые, какими мы никогда их не видели.

УЧИТЕЛЬ МОЕГО ОТЦА

Вторник, 11 апреля

Какую чудесную поездку совершил я вчера вместе с моим отцом! Вот как это произошло.

Третьего дня за обедом, читая газету, мой отец вдруг вскрикнул от изумления. Потом он сказал:

— А я-то думал, что он уже двадцать лет тому назад умер! Подумайте, жив еще мой первый учитель, Винченцо Кросетти, которому исполнилось восемьдесят четыре года. Я здесь прочел, что министерство пожаловало ему медаль за заслуги, за шестьдесят лет преподавания в школе. Шестьдесят лет, понимаете ли вы? И только два года, как он вышел в отставку и перестал работать в школе.

Оказывается, он живет от нас на расстоянии одного часа езды по железной дороге, в Кондове, там же, где живет наша прежняя цветочница из виллы Кьери.

Потом мой отец прибавил:

— Мы поедем его навестить, Энрико.

И в течение всего вечера он больше ни о чем другом не говорил. Имя его первого учителя разбудило в нем тысячу воспоминаний о тех днях, когда он был мальчиком, о его школьных товарищах, об умершей матери.

— Кросетти! — воскликнул он. — Ему было сорок лет, когда я у него учился. Мне кажется, что я так и вижу его перед собой! Он тогда уже немного горбился, у него были светлые глаза, и он не носил бороды. Он обращался с нами строго, но всегда сдержанно, любил нас, как отец, однако ничего никому

не прощал. Он был сыном крестьянина, но после многих трудов и лишений добился того, что стал образованным человеком. Моя мать уважала и ценила его, а отец считал его своим другом. Как случилось, что теперь он кончает свои дни в Кондове, недалеко от Турине? Он конечно не узнаёт меня, но это неважно, я-то сейчас узнаю его. С тех пор прошло сорок четыре года, сорок четыре года! Энрико, мы завтра же поедем к нему.

И вот вчера, в девять часов утра, мы были уже на вокзале. Мне хотелось, чтобы Гарроне тоже поехал с нами, но он не мог, так как у него заболела мама. Был чудесный весенний день. Поезд шел посреди зеленых лугов и цветущих изгородей, и весь воздух был напитан ароматом.

Мой отец был очень доволен; время от времени он обнимал меня рукой за шею и говорил со мной как с другом, смотря в окно на окружающую нас природу.

— Милый Кросетти! — повторял мой отец. — Он больше всех других, не считая, конечно, моего отца, любил меня и сделал мне много добра. Ни один из его мудрых советов ни разу не обманул меня, так же как и его строгие замечания, после которых я возвращался домой, чуть не плача от огорчения.

Руки у него были крупные и короткие. Я как сейчас вижу, как он входит в класс, ставит палку в угол и вешает свой плащ на вешалку, всегда одними и теми же движениями.

Он всегда был в ровном настроении, ко всему относился с исключительной добросовестностью, был полон доброжелательства и внимателен так, как будто бы каждый день был его первым днем в школе. Я словно сейчас слышу, как он мне говорит: «Боттини, Боттини! Указательный и средний палец сюда, на перо!..» Он, должно быть, очень изменился за сорок четыре года...

Как только мы приехали в Кондову, так прежде всего пошли разыскивать нашу старую садовницу из виллы Кьери, у которой там небольшая лавочка в одном из переулков. Мы застали дома ее и ее мальчиков, и она нам очень обрадовалась и рассказала, что ее муж должен вскоре вернуться из Греции, где он уже проработал три года, и что ее старшая дочь находится в институте для глухонемых в Турине. Потом

она показала нам, как пройти к учителю, которого все в округе знают.

Мы вышли из города и стали подниматься в гору по дорожке между двумя цветущими изгородями.

Мой отец больше не разговаривал и казался глубоко погруженным в свои воспоминания; время от времени он улыбался, а потом качал головой.

Вдруг он остановился и сказал:

— Вот он. Бьюсь об заклад, что это он.

Навстречу нам шел, опираясь на палку, небольшого роста старичик с седой бородой, в широкополой шляпе; он с трудом передвигал ноги, и руки у него тряслись.

— Это он,— повторил мой отец и ускорил шаги.

Когда мы подошли к старику, то остановились; он остановился тоже и посмотрел на моего отца. Лицо его было еще свежим, а глаза — ясными и живыми.

— Это вы,— спросил мой отец, снимая шляпу,— учитель Винченцо Кросетти?

Старик также снял шляпу и ответил:

— Да, это я,— немного дрожащим, но звучным голосом:

— Тогда,— продолжал мой отец, схватывая его за руку,— позвольте вашему бывшему ученику пожать вам руку и спросить вас, как вы поживаете: Я приехал из Туринской специально, чтобы повидать вас.

Старик взглянул на него с удивлением, потом сказал:

— Вы мне делаете слишком много чести... я не знаю... когда же? моим учеником? Простите меня, но скажите мне, пожалуйста, ваше имя.

Мой отец назвал себя: «Альберто Боттини», — и напомнил, в котором году и где он у него учился; потом он прибавил:

— Вы не помните меня, это вполне естественно, но как хорошо я узнаю вас!

Учитель опустил голову и, задумчиво глядя в землю; несколько раз пробормотал про себя имя моего отца, который тем временем пристально смотрел на него, улыбаясь.

Вдруг старик поднял голову и, широко раскрыв глаза, медленно произнес:

— Альберто Боттини? Сын инженера Боттини, того самого, который жил на площади Консолата?

— Тот самый,— ответил мой отец, протягивая своему учителю обе руки.

— Тогда,— пробормотал старик,— позвольте мне, дорогой синьор, позвольте мне...— и, шагнув вперед, он обнял своего бывшего ученика, причем его седая, как лунь, голова едва достигала плеча моего отца, который наклонился и поцеловал старца в лоб.

— Будьте так добры, пойдемте со мной,— пригласил нас старый учитель.

И, не говоря больше ни слова, он повернулся и зашагал обратно, к своему дому. Через несколько минут мы подошли к небольшому домику с палисадником. Внутрь вели две двери, и стена вокруг одной из них была выбелена. Учитель открыл другую дверь и пригласил нас войти в комнату. Я увидел четыре белых стены; в одном углу стояла кровать на козлах, покрытая одеялом в белую и синюю клетку; в другом углу — столик с небольшой книжной полкой; кроме того, там было четыре стула и к стене была прибита старая географическая карта; в комнате хорошо пахло яблоками.

Мы сели все трое. Мой отец и учитель некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Боттини!— воскликнул, наконец, учитель, уставившись глазами в кирпичный пол, который солнечные лучи делали похожим на шахматную доску.— О, теперь я всё припоминаю. Ваша матушка была такая хорошая синьора! В первом классе вы одно время сидели на первой скамейке слева, около окна. Вот видите, как я всё хорошо помню. Я так и вижу перед собой вашу кудрявую голову.

Он еще немного подумал.

— А ведь вы были бойким мальчиком, помните? И даже весьма бойким. Во втором классе вы болели круппом. Я помню, как вы вернулись в школу после болезни, похудевший, закутанный в шаль. С тех пор прошло сорок лет, не так ли? Как хорошо с вашей стороны, что вы вспомнили своего старого учителя. И другие тоже приезжают меня навестить. Не-

сколько лет тому назад у меня были мои бывшие ученики — один полковник, священники, разные синьоры.

Потом он спросил у моего отца, чем он занимается, и прибавил:

— Я рад, я очень рад. Благодарю вас. В последнее время никто уже не приезжает меня навестить, и я боюсь, дорогой синьор, что вы будете последним.

— Что вы говорите! — воскликнул мой отец, — вы выглядите таким молодцом, полным сил! Вы не должны говорить таких вещей.

— О нет,— возразил учитель,— видите ли вы эту дрожь? — и он показал на свои руки.— Это дурной знак. У меня начали трястись руки три года тому назад, когда я еще преподавал в школе. Сначала я не обратил на это внимания, думал, что пройдет. Но оно не проходило; а становилось всё хуже. Наступил день, когда я не смог больше писать. Ах, какой это был ужасный день, когда я впервые в жизни посадил кляксу на тетради своего ученика. Это было для меня ударом в самое сердце, мой дорогой синьор. Я продержался еще некоторое время, но потом не смог уже больше. После шестидесяти лет преподавания мне пришлось проститься со школой, с учениками, с работой. И это было тяжело, знаете, очень тяжело. После того, как я дал свой последний урок, все проводили меня до самого дома, устроили целое торжество, но мне было грустно, так как я понимал, что моя жизнь кончена. В прошлом году я потерял жену и единственного сына, и у меня остались только два племянника в деревне. Теперь я живу на несколько сот лир пенсии. Я ничего больше не делаю, и дни кажутся мне бесконечными. Единственное, что мне осталось, это, видите ли, перечитывать свои старые школьные учебники, сборники, научные журналы и еще некоторые книги, которые мне прислали в подарок.

— Вот они,— указал он на свою маленькую библиотечку.— Здесь все мои воспоминания, всё мое прошлое... Больше у меня ничего не осталось на свете.— Потом он неожиданно весело прибавил: — Я хочу сделать вам сюрприз, дорогой синьор Боттини.

Он встал, подошел к столику и открыл длинную шкатулку,

в которой лежало много маленьких пакетиков; каждый был перевязан веревочкой, и на каждом было написано число из четырех цифр. Немного поискав, учитель развязал один из этих пакетиков, развернул несколько слоев бумаги, вынул пожелавший листок и протянул его моему отцу. Это была одна из его школьных работ, написанная сорок лет назад.

Наверху было поставлено: «Альберто Боттини. 3 апреля 1838 г.».

Мой отец сразу же узнал свой крупный ребяческий почерк и начал, улыбаясь, читать, но вдруг глаза его затуманились. Я вскочил и спросил, что с ним. Он обнял меня и прижал к себе со словами:

— Посмотри на этот листок. Видишь, это поправки, сделанные моей матерью. Она всегда поправляла мне буквы Л и Т. А последние строчки полностью написаны ее рукой. Она научилась подражать моему почерку, и когда я был очень усталым и засыпал над своими уроками, она заканчивала вместо меня работу.— Тут он поцеловал пожелавшую страницу.

— Это,— продолжал учитель, указывая на остальные пакетики,— это моя память. Ежедневно я откладывал одну работу каждого из моих учеников, и вот они все тут, в порядке и под номерами. Каждый раз, что я их достаю и перечитываю по строчке то из одной, то из другой работы, на память мне приходят тысячи вещей; и мне кажется, что я снова живу в прошлом. А сколько передо мной прошло лиц, дорогой синьор! Стобит мне только закрыть глаза, как я вижу их, одно за другим, класс за классом, сотню за сотней, вижу мальчиков, из которых многие уже, должно быть, умерли. Многих я помню очень хорошо. Особенно хорошо я помню самых лучших и самых плохих, тех, которые, принесли мне больше всего радости, и тех, которые заставили меня пережить печальные минуты. Да, порядочно-таки было у меня и трудных учеников. Но теперь, когда прошло так много лет, я понимаю их и люблю всех одинаково.

Он снова сел и взял одну из моих рук в свои.

— А не помните ли вы,— спросил, улыбаясь, мой отец,— какой-нибудь моей проделки?

— Вашей проделки, синьор? — ответил старик, тоже улыбаясь,— нет, в данный момент не помню. Но это не значит, что вы никогда не шалили. Вы были способным мальчиком, очень серьезным для своих лет. Я помню, с какой любовью всегда смотрела на вас ваша матушка... Но как же это хорошо, как мило, что вы разыскали меня! И вам, должно быть, пришлось бросить все свои дела, чтобы приехать к своему старому учителю?

— Слушайте, синьор Кросетти,— живо прервал его мой отец,— я помню, как моя бедная мать первый раз привела меня в вашу школу. Ей впервые приходилось расставаться со мной на целых два часа и оставить меня вне дома, на попечении чужого человека. Для этой любящей женщины мое поступление в школу было первым моим шагом в жизнь, первым из целого ряда мучительных и необходимых расставаний. Жизнь впервые вырывала из ее объятий сына, и она знала, что он никогда больше не будет принадлежать ей полностью. Понятно, что она была взволнована, и я тоже. Когда она поручала меня вам, голос ее дрожал, и, уходя, она еще раз кивнула мне через окошечко в дверях, причем глаза ее были полны слёз. И в эту минуту вы помахали ей рукой, положив другую себе на грудь и как бы говоря: «Синьора, доверьтесь мне; будьте спокойны, вы можете положиться на меня». Так вот, этот ваш жест, этот взгляд, по которым я заметил, что вы поняли все чувства, все мысли моей матери, этот взгляд, который как бы говорил: «Не бойтесь, всё будет хорошо!» — и который как бы заранее обещал заботу, любовь, снисходительность,— я никогда не забывал его, он навсегда остался запечатленным у меня в сердце. Это воспоминание заставило меня сегодня утром покинуть Турин и явиться сюда, чтобы через сорок четыре года сказать вам: «Спасибо, мой дорогой учитель».

Учитель не отвечал; он гладил меня по волосам, и рука его дрожала, дрожала, касаясь то моих волос, то лба, то плеча.

Тем временем отец рассматривал голые стены, бедную кровать, кусок хлеба и бутылку с маслом на окне и, казалось, думал: «Бедный учитель! После шестидесяти лет работы вот вся твоя награда!»

Но добрый старик был очень доволен и снова с живостьюю стал говорить о нашей семье, о других учителях того времени и о школьных товарищах моего отца. Одних он помнил, а других нет, и они оба подсказывали друг другу то одно, то другое.

Потом мой отец прервал этот разговор и пригласил учителя пойти с нами в город позавтракать.

Учитель с чувством отвечал «спасибо, спасибо», но, казалось, колебался. Мой отец взял его за обе руки и еще раз повторил свою просьбу.

— Но как же я буду есть,— ответил старик,— этими слабыми руками, которые так страшно трясутся? На меня неприятно будет смотреть!

— Мы поможем вам,— успокоил его отец.

Тогда он согласился, покачивая головой и улыбаясь.

— Какой сегодня хороший день,— сказал он, закрывая за собой дверь,— чудесный день, дорогой синьор Боттини, я буду помнить его до самого конца своей жизни.

Мой отец взял учителя под руку, дал руку мне, и таким образом мы спустились по тропинке. По дороге мы встретили двух босоногих девочек, которые гнали корову, а потом мальчика с огромной охапкой соломы на плечах. Учитель объяснил нам, что это две школьницы и ученик второго класса; по утрам они пасут скотину и босиком работают в поле, а вечером надевают башмаки и идут в школу.

Был почти полдень, и больше мы никого не встретили.

Через несколько минут мы дошли до харчевни, уселись за большим столом, посадив учителя посередине, и принялись за завтрак.

В харчевне было тихо, как в монастыре.

Учитель очень оживился, и от волнения у него еще больше задрожали руки, он почти не мог есть. Мой отец резал ему мясо, ломал на кусочки хлеб, солил кушанье, а для того, чтобы пить, старику пришлось свой стакан держать обеими руками.

Учитель с жаром говорил о книгах, которые читали в дни его юности, о тогдашних занятиях в школе, о том, как его хвалило начальство, о новом уставе, введенном за последние годы, и все это с сияющим от радости, раскрасневшимся лицом. Он

говорил веселым голосом и смеялся почти юношеским смехом.

А мой отец всё смотрел и смотрел на него, с тем самым выражением, с каким он смотрит иногда на меня дома, задумчиво улыбаясь и наклонив голову на одну сторону.

Учитель пролил вино себе на грудь, отец вскочил и бросился вытирать его салфеткой.

— Нет, нет, синьор, я не позволю вам этого,— говорил учитель и смеялся.

Потом он произнес несколько слов по-латыни.

Под конец он поднял дрожащей рукой стакан и сказал особенно серьезным тоном:

— Итак, за ваше здоровье, дорогой синьор инженер, за ваших детей, в память вашей прелестной матушки!

— За ваше здоровье, мой милый учитель,— ответил мой отец, пожимая ему руку.

А в глубине комнаты хозяин харчевни и с ним еще несколько человек смотрели на нас и улыбались, как будто им приятно было видеть, какой праздник выдался на долю старого учителя.

Пробило два часа, и мы стали собираться в обратный путь. Учитель захотел проводить нас до станции. Отец снова взял его под руку, я нес его палку.

Прохожие оборачивались и смотрели на нас; почти все знали старого учителя и здоровались с ним.

Проходя по одной из улиц, мы вдруг услышали голоса многих мальчиков, которые хором читали по складам. Голоса эти неслись из открытого окна школы.

Учитель остановился и, казалось, опечалился.

— Вот, дорогой синьор Боттини,— сказал он,— вот что меня огорчает. Слышать голоса детей в школе — и не быть с ними, знать, что другой занял мое место. В течение шестидесяти лет я слышал эту музыку, и она стала необходима моему сердцу. Теперь я один, у меня нет больше сыновей.

— О нет,— прервал его мой отец, продолжая путь,— у вас еще много сыновей, рассеянных по всему свету, которые помнят вас, так же как я.



— Нет, нет,— с грустью продолжал учитель,— у меня нет больше школы, нет больше сыновей. А без сыновей не к чему и жить. Скоро уже пробьет мой час.

— Не говорите этого, мой милый учитель, не думайте об этом,— уговаривал его мой отец,— во всяком случае, вы сделали столько добра! Вы посвятили свою жизнь такому благородному делу!

Старый учитель наклонил на мгновение свою белую голову к плечу моего отца.

Тем временем мы пришли на станцию. У платформы стоял готовый отойти поезд.

— Прощайте, мой милый учитель,— сказал мой отец, целуя старика в обе щеки.

— Прощайте, благодарю вас, прощайте,— отвечал учитель, беря обеими руками руку моего отца и пожимая ее.

Потом я поцеловал старика и почувствовал, что лицо его мокро от слёз.

Отец втолкнул меня в вагон, и когда поезд был тронутся, быстро взял из рук старого учителя его грубую палку и сунул ему в руку свою красивую трость с серебряным набалдашником и монограммой, сказав:

— Возьмите это на память обо мне!

Старик пытался вернуть трость и снова взять свою палку, но мой отец быстро вскочил в вагон и захлопнул дверцу:

— Прощайте, мой милый учитель!

— Прощайте, сын мой,— отвечал учитель, в то время как поезд уже двигался,— да благословит вас бог за ту радость, которую вы доставили бедному старику.

— До свиданья! — крикнул мой отец взволнованным голосом.

Но учитель опустил голову на грудь, как бы говоря: «Нет, мы не увидимся больше».

— Да, да,— повторял мой отец,— до нового свиданья!

Тогда старики поднял свою дрожащую руку к небу и так и исчез из наших глаз с поднятой вверх рукой.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Четверг, 20 апреля

Кто бы мог сказать, когда я так весело возвращался с моим отцом из нашей прекрасной загородной поездки, что целых десять дней я не увижу ни земли, ни неба!

Я был болен, опасно болен.

Я слышал, как плакала мама, я видел, как был бледен и как пристально смотрел на меня мой отец.

Сильвия и маленький братишко разговаривали шепотом, и доктор, тот, который в очках, стоял всё время около моей постели и говорил мне что-то, чего я никак не мог понять.

• Три или четыре дня почти полностью исчезли из моей памяти, как будто бы я всё время спал и мне снилось что-то запутанное и мрачное. Мне казалось, что около кровати стоит моя милая учительница первого класса и старается заглушить свой кашель платком, чтобы не потревожить меня. Я смутно припоминаю также, как наш учитель наклонился и поцеловал меня и при этом уколол мне щеку своей бородой.

Как в тумане видел я также рыжую голову Кросси, белокурые локоны Деросси, калабрийца в черном костюме и Гарроне, который принес мне мандарин на ветке, вместе с листочками, и сейчас же побежал домой, так как у него была больна мать. Потом я как будто проснулся от долгого-долгого сна и понял, что мне лучше: я видел, что отец и мама улыбались, и слышал, как Сильвия что-то напевала.

Да, я проснулся от долгого и тяжелого сна, и с каждым днем мне становилось всё лучше и лучше.

Пришел Кирличонок и заставил меня впервые после многих дней засмеяться, состроив свою «заячью мордочку». Теперь, когда он похудел после болезни, она выходит у него еще лучше.

Меня навестили также Коретти и Гароффи. Гароффи подарил мне два билета своей новой лотереи: будет разыгрываться перочинный ножик «с пятью сюрпризами», который он купил у тряпичника с улицы Бертола.

Вчера, пока я спал, явился Прекосси и, не желая будить меня, прижался щекой к моей руке, а так как он шел прямо из

кузницы своего отца и лицо его было покрыто угольной пылью, то отпечаток от его щеки остался у меня на рукаве рубашки, и мне было приятно увидеть его, когда я проснулся.

Какой пышной зеленью покрылись деревья за эти несколько дней! А когда отец поднес меня к окну, то какую я почувствовал зависть при виде мальчиков, бегущих в школу, с книгами под мышкой!

Но скоро и я вернусь в школу.

Мне так хочется скорее опять увидеть своих товарищей, свою парту, сад, улицы, узнать всё, что случилось за это время, взяться снова за книги и за тетради, которых, мне кажется, я не раскрывал целый год.

Как мама побледнела и похудела за эти дни!

Какой усталый вид у моего отца!

А мои милые товарищи каждый день приходили меня навещать.

Мне грустно думать теперь, что наступит день, когда мы окончим школу и мне придется с ними расстаться.

С Деросси и еще с некоторыми мальчиками я, может быть, и дальше буду учиться вместе, а с остальными? Как только мы кончим четвертый класс, так прощайте, мы не встретимся больше. И если я заболею, то уже не увижу их около своей постели.

Гарроне, Прекосси, Коретти — такие хорошие мальчики, такие добрые и милые товарищи, и мне никогда больше не придется с ними встречаться!

НАШИ ДРУЗЬЯ РАБОЧИЕ

Четверг, 20 апреля

Почему же, Энрико, «никогда больше?» Это будет зависеть от тебя самого. Правда, после четвертого класса ты поступишь в гимназию, а они начнут работать, но вы останетесь в том же городе, и может быть — на долгие годы. И почему же вам тогда не встречаться? Когда ты будешь в университете или в лицее, ты всегда сможешь пойти к ним в их лавочки или мастерские,

и для тебя будет огромной радостью снова встретиться с друзьями своего детства, уже взрослыми людьми, рабочими. Ведь не станут же для тебя чужими Коретти и Прекосси, где бы они ни находились. Я уверен, что ты будешь видеться с ними и проводить у них целые часы. А когда ты лучše узнаешь жизнь и окружающий тебя мир, то поймешь, что многим вещам ты сможешь научиться только у них. Только общаясь с ними, сумеешь ты понять и их работу, и ту среду, в которой они живут, и даже свою родину. А если ты не сохранишь с ними дружеских отношений, то в будущем тебе будет очень трудно приобрести друзей из среды рабочих, то есть не из той среды, к которой будешь принадлежать ты сам. И окажется, что жизнь твоя пойдет, замкнувшись в рамки только одного класса общества. А тот, кто замыкается в пределах одного класса, подобен человеку, который всегда читает только одну книгу. Страйся поэтому и теперь, и потом, когда вы расстанетесь, сохранять дружбу со своими школьными товарищами, именно потому, что они дети рабочих. Видишь ли, людей имущих классов можно сравнить с офицерами, а рабочие — это солдаты труда. Но в обществе, так же как и в армии, быть солдатом не менее благородно, чем быть командиром, так как благородство заключается в действиях человека, а не в его заработке, в доблести, а не в чине. И если чья-нибудь доблесть и должна цениться выше, то это доблесть солдата, рабочего, который получает за свой труд меньшее вознаграждение. Поэтому люби и особенно уважай среди всех своих товарищей именно тех, чьи отцы — солдаты труда. Уважай в их лице тяжелую работу и трудную жизнь их родителей. Никогда не обращай внимания на разницу в богатстве и в положении, — только низкие люди любезны с богатыми и презирают бедных. Подумай, что те, которые освободили твою родину, почти все пришли из мастерских или с полей.

Люби Гарроне, люби Прекосси, люби Коретти, люби своего Кирпичонка, — в груди у этих маленьких будущих рабочих скрыты благородные сердца, которым могли бы позавидовать принцы. И обещай, что никакие перемены судьбы никогда не прекратят вашей чудесной детской дружбы. Обещай, что если

через сорок лет, на какой-нибудь железнодорожной станции, ты узнаешь в машинисте своего старого Гарроне, с лицом, почерневшим от угольной пыли... Нет, мне не нужно твоего обещания, я уверен, что ты вскочишь на паровоз и с жаром обнимешь его, даже если ты сам будешь к этому времени сенатором.

Твой отец.

МАТЬ ГАРРОНЕ

Пятница, 28 апреля

Когда я вернулся в школу, меня ожидала грустная весть. Вот уже несколько дней как отсутствовал Гарроне, потому что его мать была опасно больна.

В субботу вечером она умерла.

Вчера утром, как только мы вошли в класс, учитель сказал:

— На долю бедного Гарроне выпало самое большое несчастье, которое может случиться с ребенком: у него умерла мать. Завтра он вернется в школу. Прошу вас, мальчики, отнеситесь с уважением к тому горю, которое постигло его. Когда он войдет, поздоровайтесь с ним ласково и серьезно. Никаких шуток, никакого смеха.

И вот сегодня утром, немного позже других, бедный Гарроне вошел в класс. При взгляде на него у меня сжалось сердце. Лицо его побледнело, глаза были красные, и он плохо держался на ногах; казалось, что он сам проболел целый месяц.

Его с трудом можно было узнать, он был одет во всё черное и выглядел страшно жалким. Мы смотрели на него, затаив дыхание. Как только он вошел и опять увидел тот класс, к дверям которого мать приходила встречать его почти каждый день, ту парту, над которой она столько раз склонялась в дни экзаменов, давая ему последние наставления, парту, сидя за которой он так часто думал о своей матери, горя нетерпением скорее бежать ей навстречу,— как только он снова увидел всё это, так громко разрыдался. Учитель привлек его к себе, прижал к груди и сказал ему:

— Плачь, плачь, бедный мальчик; но не падай духом. Твоей матери больше нет с нами, но вспомни, как она тебя любила.

ла, как она жила ради тебя, и старайся быть таким же добрым и честным, какой была она.

Потом учитель повел Гарроне на его место, рядом со мной. Я не смел поднять на него глаз. Он вынул свои тетради и книги, которых не открывал в течение стольких дней. Но открыв книгу для чтения как раз на том месте, где на картинке изображена мать, ведущая за руку мальчика, он снова заплакал, уронил голову на парту и закрыл лицо руками. Учитель сделал нам знак, чтобы мы не обращали на него внимания, и начал урок.. Мне хотелось сказать что-нибудь Гарроне, но я не знал, что. Тогда я коснулся его согнутого локтя и шепнул ему на ухо:

— Не плачь, Гарроне.

Он не ответил мне, но, не поднимая головы, взял мою руку в свою и слабо пожал ее.

При выходе из школы никто не заговаривал с ним и все с уважением и молча обходили его. Я увидел маму, которая пришла меня встречать, и побежал, чтобы обнять ее, но она тихонько отстранила меня и посмотрела на Гарроне. Сразу я не понял, почему, но потом заметил, что Гарроне, одиноко стоя в стороне, пристально смотрел на меня. Он смотрел на меня с такой невыразимой грустью, как будто хотел сказать: «Ты обнимаешь свою мать, а я никогда уже больше не обниму моей мамы. У тебя еще есть мать, а моя умерла!»

И тогда я понял, почему мама отстранила меня, и пошел рядом с ней, даже не взяв ее за руку.

ДЖУЗЕППЕ МАДЗИНИ

Суббота, 29 апреля

Сегодня утром Гарроне опять пришел в школу бледный, с распухшими от слёз глазами и едва взглянув на маленькие подарки, которые мы, желая развлечь его, положили ему на парту.

А учитель принес сегодня книгу, чтобы специально прочесть ему одну из ее страниц и тем самым подбодрить его.

Учитель еще раньше предупредил нас, что мы всем классом

пойдем завтра в двенадцать часов в ратушу. Там будут вручать медаль за спасение утопающих одному мальчику, который спас ребёнка, тонувшего в По. Наш учитель прибавил, что в понедельник он продиктует нам описание этой церемонии вместо ежемесячного рассказа.

Потом он повернулся к Гарроне, который сидел, опустив голову, и сказал:

— Гарроне, сделай над собой усилие, пиши и ты то, что я буду сейчас диктовать.

Все взяли ручки, и учитель начал:

— «Джузеppe Мадзини¹ родился в Генуе в тысяча восемьсот пятом году и умер в Пизе в тысяча восемьсот семьдесят втором. Это был великий патриот своей родины, великий писатель, первый вдохновитель итальянской революции. Из любви к родине он прожил сорок лет своей жизни в бедности, в изгнании, преследуемый, скитаясь с места на место, но всегда верный своим убеждениям и своим целям.

Джузеppe Мадзини обожал свою мать, от которой он получил то, что было самым высоким и чистым в его сильной и благородной душе. И вот что написал он одному из своих близких друзей, чтобы утешить его в его величайшем горе:

„Друг мой, ты больше никогда не увидишь свою мать. Это ужасно, но это так. Я не приду к тебе, потому что твоя боль — это такая высокая и святая боль, которую нужно переживать и побеждать в одиночестве. Понимаешь ли ты, что я хочу сказать, когда говорю: «Надо побеждать боль?». Надо победить то, что в этой боли кроется наименее высокого, наименее чистого, то, что, вместо того, чтобы совершенствовать душу, ослабляет и унижает ее. Но другая, благородная боль, та, которая очищает и возвеличивает душу, эта боль должна на всегда остаться с тобой.

Ничто здесь, на земле, не заменит тебе матери. Ни в страданиях, ни в радостях, которые еще сможет дать тебе жизнь, ты никогда не забудешь своей матери.

¹ Джузеppe Мадзини (1804—1872) — один из крупнейших деятелей итальянского национально-освободительного движения.

Ты должен помнить ее, любить ее и оплакивать ее смерть так, чтобы это было достойно ее.

О друг мой, послушай меня. Смерть не существует, она — ничто, ее даже нельзя понять.

Жизнь — это жизнь, и она следует закону жизни — развитию. Вчера у тебя была мать, сегодня ее больше нет. Но ты отвечаешь перед ней за все свое поведение еще больше, чем раньше. Из любви и уважения к своей матери ты должен становиться все лучше и лучше.

Отныне ты должен перед каждым своим поступком спрашивать самого себя: «А одобрила ли бы это моя мать?» Будь сильным и честным; не поддавайся низменному чувству отчаяния; обрети то спокойствие, которое обретают великие души в великих страданиях: вот чего она хочет...”»

— Гарроне,— продолжал учитель,— будь сильным и спокойным, вот чего она хочет, ты понял?

Гарроне кивнул головой, что да, в то время как крупные тяжелые слезы падали ему на руки, на тетрадь, на парту.

МЕДАЛЬ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

(ежемесячный рассказ)

В полдень весь наш класс вместе с учителем был перед ратушей, где должны были вручить медаль за спасение утопающих мальчику, который спас своего товарища,тонувшего в По.

На фасаде здания развевалось огромное трехцветное знамя. Мы вошли во внутренний двор ратуши. Там было уже полно народа. В глубине стоял стол, покрытый красной скатертью, на котором лежали бумаги, а за ним — ряд позолоченных кресел для городского головы и членов городского совета. Там стояла также стража ратуши, в голубых жилетах и белых чулках. Справа выстроился отряд городской стражи, весь сверкающий орденами, а рядом с ним — отряд таможенников; с другой стороны стояли пожарные в парадных мундирах и солдаты — кавалеристы, пехотинцы, артиллеристы, пришедшие взглянуть на торжественную церемонию. Кроме того, во дворе толпились

сивьоры, горожане, несколько офицеров и женщины с детьми. Мы пронеслись в угол, где уже стояли ученики других школ со своими учителями.

Рядом с нами оказалась группа по-деревенски одетых мальчиков и юношей, от десяти до восемнадцати лет, которые смеялись и громко разговаривали, и мы поняли, что они из Борго-на-По¹, товарищи и знакомые того мальчика, который должен был получить медаль.

Сверху изо всех окон смотрели служащие городского совета. Лоджия² библиотеки также была полна людей, притиснувшихся вплотную к перилам. А напротив, на галерее, которая находится над входными воротами, теснились ученицы из народных училищ и воспитанницы института для дочерей военных, в своих красивых голубых вуалах.

Это было похоже на театр.

Все весело разговаривали, поглядывая в сторону красного стола,— не покажется ли там кто-нибудь.

В глубине подъезда тихо играл оркестр. Высокие стены горели на солнце. Было очень красиво.

Вдруг все, и во дворе, и на галереях, и у окон, зааплодировали. Я поднялся на цыпочки, чтобы посмотреть, в чем дело. Толпа, которая стояла позади красного стола, раздвинулась, и вперед вышли мужчина и женщина. Мужчина вел за руку мальчика. Этот мальчик спас своего товарища. Отец, каменщик, был в праздничном костюме, мать, невысокая блондинка, в черном платье, мальчик, тоже маленький и белокурый, в серой курточке.

Увидев столько народа и услышав взрыв рукоплесканий, все трое остановились, не смея ни поднять глаз, ни двинуться дальше.

Один из городских стражников провел их к столу направо. На мгновение все замерли, а потом рукоплескания разразились с новой силой. Мальчик посмотрел вверх, на окна, а затем на галерею с дочерьми военных. В руках он держал свою

¹ Борго-на-По — район Туринा.

² Лоджия — помещение, у которого наружная стена сделана в виде открытой галереи или балкона.

шапку, и, казалось, сам не понимал хорошенъко, где находится.

Я подумал, что лицом он немного напоминает Коретти, только волосы у него еще более рыжие. Его отец и мать так и не поднимали глаз от стола, покрытого красной скатертью.

Тем временем мальчики из Бергё-на-По, которые стояли рядом с нами, подались вперед и стали делать знаки своему товарищу, чтобы он обратил на них внимание, вполголоса окликая его:

— Пин, Пин, Пинот!

В конце концов они добились своего,— мальчик посмотрел на них, и, прикрыв лицо шапкой, заулыбался.

Вдруг вся стража выстроилась «смирно»,— вошел городской голова в сопровождении многих сеньоров. Городской голова, весь седой, с большим трехцветным шарфом через плечо, стал за столом, все остальные — позади него, справа и слева. Оркестр перестал играть. Городской голова сделал знак, и все затихли.

Он начал говорить. Первые слова я плохо расслышал, но понял, что он рассказывал о подвиге мальчика. Потом голос его зазвучал громче и разнесся, ясный и звонкий, по всему двору, так что я не пропустил больше ни одного слова:

— Когда этот мальчик, проходя по берегу, увидел барахтающегося в реке товарища, уже охваченного страхом смерти, то он сорвал с себя одежду и, не теряя ни мгновенья, бросился ему на помощь. Ему кричали: «Ты утонешь!» — он не отвечал; его удерживали, — он вырывался; его звали по имени, — но он был уже в воде. Река вздулась, опасность была велика. даже для взрослого человека. Но мальчик, который смело бросился на поединок со стихией, доказал, что хотя у него маленькое и слабое тело, но зато большое сердце. Ему удалось вовремя настигнуть и схватить несчастного, который был уже под водой, и вытащить его на поверхность. Маленький герой отчаянно боролся с захлестывающими его волнами, крепко держа утопающего; не раз он исчезал под водой и снова отчаянным усилием выплывал на поверхность. Он упорно, смело стремился к своей высокой цели, — не как мальчик, спасающий другого мальчика, а как мужчина, как отец, спасающий сына, в котором для него вся надежда, вся жизнь.

И судьба не допустила, чтобы такое самоотверженное мужество оказалось напрасным. Маленький пловец вырвал у огромной реки ее жертву, вытащил утопающего на берег и еще оказал ему, вместе с другими, первую помощь. После этого он спокойно вернулся домой и просто рассказал о том, что сделал.

Синьоры! Прекрасен, достоин восхищения геройский поступок взрослого человека, но геройский поступок ребенка, в сердце которого нет еще никаких честолюбивых или иных личных стремлений, ребенка, который должен быть тем храбрее, чем меньше у него сил, ребенка, от которого мы еще не требуем никакого героизма, который ни к чему не обязан, которого мы считаем хорошим и благородным не за то, что он совершает благородные поступки, а за то, что он понимает и признаёт благородное самопожертвование других,— геройский подвиг ребенка поистине велик.

Я больше ничего не прибавлю, синьоры. Я не хочу украшать напыщенными похвалами его скромное величие. Вот он перед вами, этот смелый и благородный мальчик. Солдаты, отдайте ему честь, как брату; матери, благословите его, как сына; школьники, запомните его имя, его лицо, чтобы он навсегда запечатлся в вашей памяти и в вашем сердце. Подойди, мальчик. От имени короля Италии я даю тебе медаль за спасение утопающих.

Громкое, единодушное «ура!» потрясло стены. Городской голова взял со стола медаль и прикрепил ее на грудь маленького героя. Потом он обнял и поцеловал его.

Мать мальчика закрыла себе глаза рукой, отец опустил голову на грудь. Городской голова пожал руку обоим и, взяв со стола грамоту о награждении, перёвязанную лентой, протянул ее матери. Потом он снова повернулся к мальчику и сказал:

— Пусть память об этом дне, таком славном для тебя и таком счастливом для твоих родителей, ведет тебя в течение всей твоей жизни по пути доблести и чести. Прощай!

Городской голова ушел, оркестр снова заиграл, и, казалось, что всё уже кончилось, как вдруг отряд пожарных раздвинулся и показался мальчик лет восьми-девяти, которого подталки-

вала вперед женщина; она сейчас же скрылась, а ребенок подбежал к награжденному и бросился ему в объятья.

Снова двор загудел от криков «ура» и рукоплесканий. Все сразу поняли, что это был спасенный мальчик, который явился поблагодарить своего спасителя. Ребенок поцеловал его и взял за руку, чтобы выйти вместе на улицу. Они пошли впереди, а за ними — отец и мать. Они медленно подвигались к воротам, прокладывая себе путь в толпе.

Стражи, мальчики, солдаты, женщины — все в беспорядке расступались перед ними. Многие протискивались вперед и становились на цыпочки, чтобы посмотреть на мальчика, а те, которые оказывались на его пути, пожимали ему руки.

Когда он проходил мимо школьников, то они замахали, в виде приветствия, своими беретами. Мальчики из Борго-на-По подняли страшный шум, стали дергать его за руки и за курточку, крича:

— Пин, да здравствует Пин, браво, Пинот!

Он прошел совсем близко от меня. Я заметил, что лицо его горело и сияло от радости. Медаль висела у него на груди на трехцветной (белой с красным и зеленым) ленте. Мать мальчика и плакала и смеялась одновременно, а отец крутил свой ус слегка дрожащей рукой.

Наверху, в окнах и на галереях, продолжали наклоняться вперед и аплодировать. Вдруг, когда всё шествие уже готово было войти в подъезд, с галереи дочерей военных посыпался дождь анютиных глазок, букетиков фиалок и маргариток, которые падали на головы мальчика, его отца и матери и на землю. Многие бросились поспешно подбирать их и отдавали матери мальчика. А оркестр в глубине двора продолжал тихо-тихо играть чудесную арию; казалось, что поют тысячи серебряных голосов и звуки песни медленно уносятся вдаль, туда, к берегам величественной реки По.

Май

ВЕЕР И КРАСКИ

Вторник, 9 мая

Мама — очень добрая, и у моей сестры Сильвии такое же доброе и нежное сердце.

Вчера вечером я сидел и переписывал часть ежемесячного рассказа «От Апеннина до Анд». Этот рассказ такой длинный, что учитель каждому из нас дал переписать из него по небольшому отрывку.

Вдруг в комнату на цыпочках вошла Сильвия и тихо и быстро сказала мне:

— Пойдем вместе со мной к маме. Сегодня утром я слышала, как она разговаривала с папой; у него неприятности на работе, он очень расстроен, и мама уговаривала его не падать духом. Мы сейчас в очень стесненных обстоятельствах, понимаешь, у нас может не хватить денег на жизнь. Папа сказал, что нам придется пойти на кое-какие жертвы, чтобы снова оправиться, и я думаю, что мы, дети, тоже должны принести свои жертвы,— ведь ты согласен со мной, правда? Ну вот и хорошо, тогда пойдем сейчас же к маме, и обещай мне, что ты будешь подтверждать и одобрять всё, что я стану говорить.

После этих слов Сильвия взяла меня за руку и повела к маме, которая задумчиво сидела и шила что-то. Я примостился на скамеечке с одной стороны от мамы, Сильвия — с другой, и сразу же она начала так:

— Послушай, мама, нам обоим нужно серьезно поговорить



с тобой.— Мама с удивлением взглянула на нас, а Сильвия продолжала: — Ведь у папы сейчас затруднения с деньгами, не правда ли?

— Что ты говоришь? — возразила, покраснев, мама.— Это не так! Что ты можешь знать о таких вещах? Кто тебе это сказал?

— Я это знаю,— твердо продолжала Сильвия.— Так вот, слушай, мама, мы тоже хотим принести свои жертвы. Ты обещала в конце мая подарить мне веер, а Энрико— краски, но теперь нам ничего этого не нужно, мы не хотим, чтобы вы тратили деньги нам на подарки. Мы будем довольны и так, понимаешь?

Мама пыталась что-то сказать, но Сильвия продолжала:

— Нет, так и будет. Мы так уже решили. И пока у папы трудности с деньгами, нам не надо ни фруктов, ни других лакомств, нам довольно одного супа на обед, а утром мы будем есть только хлеб. Таким образом у нас сократятся расходы на еду, на которую мы сейчас тратим слишком много. И мы тебе обещаем, что всегда будем всем довольны... Ведь правда, Энрико?

Я отвечал, что да.

— Мы всегда будем всем довольны,— повторила Сильвия, закрывая маме рот своей рукой,— а если нам нужно будет принести и еще какие-нибудь жертвы, например в одежде или в чем-нибудь еще, мы это тоже сделаем с радостью, мы готовы даже продать те подарки, которые получили от вас раньше. Я с удовольствием стану помогать тебе, мы ничего не будем больше заказывать, я буду хозяйничать вместе с тобой целый день, буду делать всё, что ты захочешь, я готова на всё, на всё,— при этом Сильвия порывисто обняла маму,— лишь бы опять видеть вас обоих спокойными и веселыми, как раньше, вместе с вашей Сильвией и вашим Энрико! Я вас так люблю, что с радостью отдала бы за вас свою жизнь!..

Я никогда раньше не видел маму такой счастливой, как в эту минуту, когда она услышала эти слова; никогда раньше она так нежно не целовала нас, одновременно плача и смеясь. Она не в силах была произнести ни слова.

Потом она стала уверять Сильвию, что та плохо поняла ее разговор с папой, что мы, к счастью, не дошли еще до такой крайности, как думает Сильвия. Мама тысячу раз благодарила нас и была очень весела весь вечер, пока не пришел отец, которому она сразу же все рассказала. Бедный отец, он не ответил ни слова, но сегодня утром, когда мы сели за стол, то одновременно и обрадовались и огорчились: я нашел у себя под салфеткой яичек с красками, а Сильвия — веер.

ОТ АПЕННИН ДО АНД

(ежемесячный рассказ)

Много лет тому назад один тринадцатилетний генуэзский мальчик, сын рабочего, совершил, совершенно один, путешествие из Генуи в Америку, в поисках своей матери.

За два года до того она уехала в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, рассчитывая поступить там служанкой в какой-нибудь богатый дом и заработать таким образом в короткий срок столько, чтобы поправить дела семьи, которая вследствие ряда несчастных обстоятельств разорилась и попала в долги.

Не мало мужественных женщин уже проделали с подобной же целью этот длинный путь и благодаря высокой плате, которую получает по ту сторону океана прислуга, вернулись через немного лет на родину с несколькими тысячами лир.

Бедная мать плакала кровавыми слезами, расставаясь со своими сыновьями, старшему из которых было восемнадцать, а младшему одиннадцать лет, но всё-таки уехала, не теряя мужества и полная надежды.

Путешествие прошло благополучно. Сразу же по прибытии в Буэнос-Айрес молодой женщине удалось устроиться на место с помощью двоюродного брата ее мужа, торговца из Генуи, который уже давно обосновался в Америке. Она поступила служанкой в одну аргентинскую семью, где ей щедро платили и хорошо к ней относились, и начала аккуратно переписываться со своими. Ее муж, как было условлено, писал ей письма через посредство своего двоюродного брата, которому и она вручала

свои ответы. Тот пересыпал их в Геную, часто прибавляя еще и от себя несколько строк.

Получая восемьдесят лир в месяц и ничего не тратя, жена через каждые три месяца отправляла домой кругленькую сумму, так что ее муж, который был честным человеком, мало-помалу расплатился с самыми неотложными долгами и начал восстанавливать свое доброе имя.

Вместе с тем он работал, и всё, таким образом, шло хорошо. Он надеялся, что жена его скоро вернется, потому что дом казался пустым в ее отсутствие и младший сын, который горячо любил свою мать, особенно грустил без нее и не мог примириться с тем, что она так далеко.

Но примерно через год после отъезда семья получила от матери коротенькое письмо, где говорилось, что она не совсем здорова, а потом письма совсем прекратились. Два раза писали они двоюродному брату, но он не отвечал. Тогда они написали в ту аргентинскую семью, где служила их мать, но так как они перепутали в адресе имя, то письмо их так и не дошло и они напрасно ждали на него ответа.

Опасаясь какого-нибудь несчастья, они написали итальянскому консулу в Буэнос-Айрес, прося его навести справки. Через три месяца консул ответил им, что, несмотря на объявление в газетах, никто не явился и никто ничего не сообщил. Впрочем, иначе и не могло быть еще и потому, что бедная женщина боялась, нанимаясь в служанки, запятнать честь своей семьи и скрыла поэтому от хозяев свое настоящее имя.

Прошли еще месяцы,— никаких известий!

Отец и оба сына страшно волновались. Младший мальчик приходил в отчаяние, которого не в силах был побороть. Что делать? К кому обратиться? Первой мыслью отца было отправиться самому на поиски своей жены в Америку. Но работа? И кто за это время содержал бы его мальчиков?

Старший сын тоже не мог уехать, так как он только что начал кое-что зарабатывать и поэтому нужен был дома. Так они и жили, в постоянной тревоге, каждый день говоря всё о том же или молча глядя друг на друга.

Наконец однажды вечером Марко, самый младший, решительно сказал:

— Я поеду в Америку разыскивать маму.

Отец с грустью опустил голову, но ничего не ответил. Конечно, он понимал горячий душевный порыв сына, но в тринацать лет, одному, поехать в Америку, куда целый месяц пути, было совершенно невозможно.

Но мальчик терпеливо продолжал настаивать на своем. Он говорил об этом и сегодня, и завтра, и во все последующие дни, говорил совершенно спокойно, рассуждая как взрослый человек.

— Покидали же свою родину,— говорил он,— другие, которые были еще моложе меня. Вы посадите меня на пароход, а там я доеду, как и все. А в Буэнос-Айресе мне нужно будет только отыскать лавку дяди. Там столько итальянцев, кто-нибудь покажет мне дорогу. А когда я найду дядю, то, значит, я найду и маму. А если я не найду его, то пойду к консулу, и он отыщет аргентинское семейство. Если же что-нибудь со мной случится, то там, говорят, для всех есть работа, найдется она и для меня, и я сумею заработать себе хотя бы на обратный путь.

И так, мало-помалу, ему удалось почти уговорить своего отца. Отец уважал его, знал, что у Марко есть здравый смысл и мужество, что он привык к лишениям и жертвам и что все эти хорошие качества еще усилятся, когда перед ним будет стоять святая цель — найти свою мать.

А тут случилось еще, что друг одного из их знакомых, капитан парохода, услышав эти разговоры, предложил достать для Марко даром билет третьего класса до Аргентины. И тогда, после еще некоторых колебаний, отец, наконец, согласился; было решено, что Марко поедет. Уложили в мешок его платье, дали ему немного денег, адрес дяди и в один прекрасный апрельский вечер посадили на пароход.

— Марко, сынок мой,— сказал ему отец, стоя со слезами на глазах на сходнях готового к отплытию парохода и крепко целуя своего сына,— мужайся. Ты едешь со святой целью, и бог поможет тебе.

Марко был мужественный мальчик и готов был ко всем трудностям путешествия, но когда он увидел, что за горизонтом исчезла его прекрасная Генуя и что он в открытом море, на огромном пароходе, окруженный крестьянами эмигрантами, один, никому не знакомый, с маленьким мешочком, где спрятано всё его богатство, его неожиданно охватило уныние. В течение первых двух дней он лежал, свернувшись на носу судна, почти не прикасаясь к пище и чувствуя огромное желание плакать.

Разные печальные мысли приходили ему в голову, и особенно упорно возвращалась к нему самая грустная, самая страшная мысль, что, может быть, его матери нет больше в живых.

В своих бессвязных, тяжелых снах он видел всегда лицо какого-то незнакомца, который смотрел на него с состраданием, а потом шептал ему на ухо: «Твоя мать умерла». И тогда Марко просыпался с подавленным криком.

Однако, когда вышли из Гибралтарского пролива и глазам Марко открылся Атлантический океан, к нему вернулось немного мужества и надежды.

Но это было краткое облегчение. Огромное морское пространство, всегда одно и то же, всё увеличивающийся зной, грустное настроение всех этих бедняков, которые его окружали, и чувство собственного одиночества снова заставили мальчика приуныть.

Дни шли за днями, ничем не заполненные, однообразные, и ему казалось, что он уже целый год на море.

Каждое утро, просыпаясь, Марко снова пугался, видя, что он один, среди беспредельных вод, на пути в Америку. Чудесные летающие рыбы, которые время от времени падали на палубу, великолепные тропические закаты с их огромными облачками цвета крови или раскаленных углей, фосфорическое сияние воды по ночам, когда, казалось, весь океан загорался, как огромное море лавы,— всё это представлялось ему не действительностью, а каким-то чудом, которое снилось ему во сне. Временами погода портилась, и тогда Марко вынужден был цепь дни оставаться в каюте. Там всё качалось и падало, люди стонали и проклинали свою судьбу, и Марко казалось тогда,

что настал его последний час. Потом наступали дни, когда спокойное море приобретало желтоватый оттенок, зной становился невыносимым и тоска беспредельной.

Тянулись бесконечные мрачные часы, и истомившиеся пассажиры, неподвижно лежавшие на палубе, казались мертвыми телами. А путешествие всё не кончалось: море и небо, небо и море, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня,— еще раз, всегда,— вечно. Долгие часы простоявал Марко, облокотившись на борт, с изумлением смотря на это не имеющее границ море, и смутно думал о своей матери, пока глаза его не закрывались, голова не склонялась и он не погружался в сон; а тогда он опять видел лицо незнакомца, который смотрел на него с состраданием и повторял ему на ухо: «Твоя мать умерла!»

При звуках этого голоса Марко вздрогивал, просыпался и снова начинал грезить с открытыми глазами и вглядываться в однообразный горизонт.

Двадцать семь дней длилось путешествие! Но последние дни оказались самыми лучшими. Погода стояла прекрасная, и воздух был свежий.

Марко познакомился с одним добрым стариком из Ломбардии, который ехал в Америку к своему сыну, землепашцу, жившему недалеко от города Розарио; Марко рассказал старику все о себе, и тот часто повторял ему, похлопывая его по затылку:

— Держись молодцом, парнишка, я уверен, что с твоей матерью ничего не случилось и ты застанешь её здоровой.

Общество этого старика поддерживало Марко, и его предчувствия из грустных стали веселыми. Сидя на носу, рядом со старым крестьянином, который курил свою трубку, под покровом чудесного звездного неба, окруженный эмигрантами, которые пели песни, Марко в сотый раз мысленно представлял себе свой приезд в Буэнос-Айрес, видел, как он идет по улице, находит лавку и бросается к своему дяде: «Как моя мать? Где она? Пойдем скорее к ней!» — «Пойдем, пойдем!» — и вот они оба бегут, поднимаются по лестнице, открывается дверь... Но

здесь его немой монолог прерывался и воображение его терялось в чувстве невыразимой нежности.

Путешествие кончилось на двадцать седьмой день после отплытия. На небе горела чудесная алая майская заря, когда пароход бросил якорь в устье величественной Лаплаты, на берегу которой раскинулся огромный город Буэнос-Айрес, столица Аргентинской республики.

Великолепная погода показалась Марко хорошим предзнаменованием. Он был вне себя от радости и нетерпения: его мать на расстоянии всего нескольких миль от него, через два часа он увидит ее!

Весь длинный путь представлялся ему промелькнувшим как миг. Ему казалось, что он летел во сне и теперь проснулся.

Он был так счастлив, что почти не удивился и не огорчился, когда в карманах у себя не нашел одного из двух пакетиков, в которые он положил свои деньги, разделив на две части свое маленькое состояние, чтобы не потерять его все сразу. И вот

оказалось, что один из этих пакетиков украли и у него осталось всего несколько лир. Но какое значение имело это сейчас, когда он был уже так близко от своей матери! Держа свой мешок в руках, сошел он, вместе со многими другими итальянцами, на пароходик, который доставил их почти к самому берегу, пересел с пароходика на лодку под названием «Андреа Дориа»¹, высадился на набережную, попрощался со своим другом, стариком ломбардцем, и большими шагами направился к городу.

Дойдя до первой улицы, Марко остановил прохожего и спросил его, в какую сторону ему идти, чтобы попасть на улицу Лос-Артес. Он случайно остановил как раз итальянца — рабочего. Тот посмотрел на мальчика с любопытством и осведомился, умеет ли он читать.

— Да,— ответил Марко.

— Тогда,— сказал ему итальянец, показывая на улицу, из

¹ Андреа Дориа — генуэзский адмирал и политический деятель конца XV и первой половины XVI века.

которой только что вышел,— иди вот так, всё прямо, и читай названия улиц на всех углах; в конце концов ты дойдешь и до той, которую ищешь.

Мальчик поблагодарил его и пустился по указанному пути. Это была прямая и длинная, но узкая улица, с низкими белыми домиками, похожими на небольшие виллы.

По улице шли люди, катились повозки и экипажи, так что кругом стоял страшный шум; там и сям висели огромные полотнища, на которых большими буквами объявлялось об отплытии пароходов в неведомые города.

На каждом перекрестке Марко поворачивал голову направо и налево и видел две другие, уходящие в бесконечность улицы, застроенные такими же низенькими белыми домиками и также полные пешеходов и экипажей. В конце каждой улицы видна была беспредельная американская равнина, похожая на уходящее до самого горизонта море.

Город казался мальчику бесконечным, ему представилось, что он сможет идти вот так всё вперед целые дни и недели и будет видеть направо и налево всё такие же улицы, которыми, должно быть, покрыта вся Америка.

Марко внимательно читал названия всех улиц,— странные названия, которые он с трудом мог разобрать. На углу каждой новой улицы у него начинало биться сердце, при мысли, что это, может быть «его» улица. Он смотрел на всех женщин, думая, что может встретить среди них и свою мать. Вдруг он заметил впереди себя женскую фигуру, при виде которой его бросило в дрожь; он нагнал ее, посмотрел в лицо,— это была негритянка.

И так он всё шел и шел, ускоряя шаги. Наконец он дошел до одного перекрестка, прочитал название улицы и остановился как вкопанный: это была улица Лос-Артес. Мальчик повернулся, увидел номер 117, а лавка его дяди была номер 175. Он еще ускорил шаги, почти побежал; у номера 171 ему пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Он сказал про себя: «О моя мама, моя мама! Теперь я тебя увижу через несколько мгновений!»

Он побежал дальше и остановился перед галантерейной

лавочкой. Это было здесь. Он вошел и увидел седую женщину в очках.

— Что тебе нужно, мальчик? — спросила она по-испански.

— Не это ли, — произнес Марко, с трудом выдавливая из себя слова, — лавочка Франческо Мерелли?

— Франческо Мерелли умер, — ответила женщина по-итальянски.

Мальчику показалось, что его ударили в грудь.

— Когда же он умер?

— Да уж порядочно времени, — объяснила женщина, — несколько месяцев тому назад. Дела его пошли плохо, и он уехал. Говорят, что он отправился в Байа-Бьянка, это очень далеко отсюда, и умер, как только приехал туда. А лавка теперь моя.

Мальчик побледнел.

Потом он быстро начал объяснять:

— Мерелли знал мою мать, моя мать была здесь в услужении у синьора Мекинес. Мерелли один мог бы сказать мне, где найти ее. Я приехал в Америку в поисках своей матери. Мерелли пересыпал ей наши письма. Я обязательно должен найти свою мать.

— Ах, бедный ты мой, — ответила женщина, — но я о ней ничего не знаю. Впрочем, можно спросить служащего у меня мальчика. Он знает паренька, который выполнял разные поручения Мерелли. Может быть, он сможет рассказать тебе что-нибудь.

Женщина направилась в глубь лавки и позвала мальчика, который сейчас же явился.

— Скажи-ка мне, — обратилась к нему лавочница, — не припоминаешь ли ты служившего у Мерелли паренька, который иногда относил письма к одной женщине, жившей прислугой в доме «Сыновей родины»?

— У господина Мекинеса? — переспросил мальчик. — Да, синьора, он несколько раз относил их туда. Это в конце нашей улицы.

— Ах, синьора, благодарю вас! — воскликнул Марко. — Но скажите мне скорей номер... вы не знаете его? Тогда разрешите, чтобы ваш мальчик проводил меня...

Марко говорил с такой страстью, что парнишка, не ожидая разрешения хозяйки, сказал ему: «Пойдем», — и первый вышел быстрыми шагами на улицу.

Почти бегом, не говоря ни слова, оба устремились в конец бесконечно длинной улицы, вошли в проход, ведущий к небольшому белому домику, и остановились перед красивой железной решеткой, за которой виднелся сад, полный цветов. Марко потянул за звонок.

Показалась синьорина.

— Здесь живет семья Мекинес, не правда ли? — с тревогой спросил Марко.

— Жила, — ответила синьорина, произнося итальянские слова на испанский манер, — а теперь здесь живем мы, Собальос.

— А куда же уехали Мекинес? — с бьющимся сердцем произнес Марко.

— Они уехали в Кордову.

— В Кордову! — вырвалось у Марко. — А где же это — Кордова? Ведь у них служила моя мать! Они увезли также и мою мать?

Синьорина посмотрела на него и сказала:

— Я не знаю. Может быть, что-нибудь известно моему отцу, он был знаком с семьей Мекинес, когда они уезжали. Подождите минутку.

Она убежала и вскоре вернулась со своим отцом, старым седобородым синьором. Он несколько мгновений внимательно рассматривал Марко, который был типичным генуэзцем с белокурыми волосами и орлиным носом, и, наконец, спросил у него на ломаном итальянском языке:

— Твоя мать генуэзка?

— Да, — ответил Марко.

— Ну, так служанка генуэзка господ Мекинес уехала вместе с ними, я это знаю наверное.

— А куда они уехали?

— В Кордову, это такой город.

Мальчик тяжело вздохнул, потом сказал с покорностью:

— Ну тогда... тогда я поеду в Кордову.

— Ах, бедный ребенок! — воскликнул синьор по-испански, с

состраданием глядя на Марко.— Бедный мальчик! Ведь отсюда сотни миль до Кордовы.

Марко страшно побледнел и прислонился к решетке садика.

— Постой, постой,— сказал тогда растроганный синьор, открывая дверь,— зайди на минутку, посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать для тебя.

Он сел, усадил Марко, заставил его рассказать свою историю, выслушал ее с большим вниманием, потом несколько минут подумал и спросил Марко:

— У тебя, конечно, нет денег?

— Есть еще... немного,— ответил Марко.

Синьор еще минут пять помолчал, о чем-то думая, потом сел за столик, написал письмо, запечатал его и, передавая мальчику, сказал:

— Слушай, маленький итальянец, иди с этим письмом в Боку. Это небольшой городок, наполовину населенный генуэзцами, в двух часах ходьбы отсюда. Любой встречный укажет тебе дорогу. Отыщи синьора, которому адресовано это письмо, его там все знают. Отдай ему это письмо. Он отправит тебя завтра же в город Розарио и там поручит тебя кому-нибудь, кто сможет обеспечить тебе дорогу до Кордовы, где ты найдешь семью Мекинес и свою мать. А пока возьми это,— и он положил в руку мальчика несколько лир.— Иди и не теряй мужества. Здесь твои соотечественники сделают для тебя все, что смогут, ты не останешься одиноким. А теперь прощай.

Мальчик сказал ему: «Спасибо»,— других слов благодарности он не сумел найти и вышел, неся свой мешок. Потом он расстался со своим маленьким провожатым и медленно зашагал через большой шумный город, по направлению к Боке.

Всё, что случилось с ним дальше, начиная с этой минуты и вплоть до вечера следующего дня, осталось у него в памяти смутным и неопределенным, как бред лихорадящего больного,— так он был утомлен, огорчен и подавлен. На следующий день, к вечеру, после того, как он провел ночь в маленькой комнатке одного из домиков Боки, рядом с портовым грузчиком,

а потом почти целый день просидел на куче бревен, словно в бреду наблюдая тысячи кораблей, барж и пароходов,— он оказался, наконец, на корме большой парусной баржи, нагруженной фруктами, которая отправлялась в город Розарио, под командой трех дюжих, бронзовых от солнца генуэзцев; голоса их и звуки родного наречия, на котором они говорили, вернули Марко немного спокойствия и радости.

Дорога длилась три дня и четыре ночи, в продолжение которых наш маленький путешественник не переставал удивляться. Три дня и четыре ночи провел он на изумительной реке Паране, по сравнению с которой наша великая По просто обыкновенный ручей; длина Италии, умноженная на четыре, не достигла бы длины течения Параны.

Баржа двигалась медленно, против течения. Она скользила между длинными островами, обиталищем змей и тигров. Покрытые апельсинными деревьями и ивами, эти острова были похожи на плавающие леса. Потом баржа входила в узкие каналы, из которых, казалось, она никогда не сумеет выбраться; затем снова выплывала на широкие водные просторы, напоминающие большие озёра. А потом она опять скользила среди островов, по проливам запутанного архипелага, среди огромных массивов растительности. Кругом царilo глубокое молчание. Если долго смотреть на берега и пустынные, безграничные воды, то начинает казаться, будто плывешь по неизвестной реке, по которой этот убогий парус впервые отважился пуститься. Чем далее они подвигались, тем больше подавляла Марко эта чудовищная река.

Он воображал, что его мать находится где-нибудь у самых истоков ее и что плавание их продлится целые годы. Два раза в день он съедал немного хлеба и соленого мяса вместе с лодочниками, которые, видя его таким печальным, не обращались к нему ни с какими разговорами.

Ночью он спал на сложенном одеяле и несколько раз внезапно просыпался, пораженный удивительно прозрачным светом луны, который серебрил беспредельные воды и далекие бе-

рега; и тогда сердце его сжималось. «Кордова!» Он повторял про себя это имя — Кордова! Оно было похоже на название какого-то таинственного сказочного города. Но потом он думал: «Моя мать проезжала здесь, она видела эти острова, эти берега», — и тогда они не казались уже ему такими чуждыми и пустынными, — ведь на них останавливался взгляд его матери.

По ночам один из лодочников пел, и Марко вспоминал песни, которые пела его мать, убаюкивая его ребенком. В последнюю ночь, услышав пение, Марко зарыдал. Лодочник умолк, потом крикнул на генуэзском наречии:

— Эй, не унывай, паренек! Черт возьми! Как, ты, генуэзец, плачешь, потому что ты далеко от своего дома! Ведь генуэзцы со славой и победой объездили весь мир!

Услышав эти слова, Марко как бы проснулся. Он узнал голос генуэзской крови и, гордо подняв голову, ударил кулаком по рулю. «Да,— сказал он сам себе,— если бы мне пришлось даже обехать вокруг всего света, пространствовать еще долгие годы, пройти сотни тысяч миль пешком, я всё равно буду идти вперед, пока не найду свою мать, хотя бы я дошел до нее умирая и мертвым упал к ее ногам! Лишь бы мне еще один раз увидеть ее! Смелей!»

С такими бодрыми мыслями прибыл он, на розовой заре одного прохладного утра, к городу Розарио, на высоком берегу Параны, где отражались в воде украшенные флагами мачты сотен кораблей, пришедших сюда из самых различных стран.

Как только Марко высадился на берег, так сейчас же, крепко держа в руках свой мешок, стал подниматься по направлению к городу. Он должен был разыскать там одного аргентинского синьора и передать ему от того человека, который принял в нем участие в Боке, визитную карточку с написанными на ней несколькими словами.

Когда Марко вошел в Розарио, ему показалось, что он уже раньше бывал в этом городе. Здесь тянулись те же бесконечные прямые улицы с низенькими белыми домиками, над крышами которых по всем направлениям пересекались нити теле-

графных и телефонных проводов, похожие на огромную паутину. На этих улицах царила такая же суматоха, было так же много людей, лошадей и экипажей.

Голова у Марко кружилась. Ему казалось, что он снова попал в Буэнос-Айрес и во второй раз должен разыскивать своего дядю. Он почти целый час кружил по улицам, поворачивая то направо, то налево, и ему чудилось, что он каждый раз попадал опять на ту же самую улицу.

Наконец, после многих расспросов, он нашел дом, который искал. Марко потянул за звонок. В дверях показался толстый светловолосый человек с суровым лицом, очевидно слуга, который грубо спросил, произнося слова на иностранный лад:

— Что надо?

Мальчик назвал имя синьора.

— Синьор,— ответил слуга,— уехал вчера в Буэнос-Айрес со всей семьей.

Марко стоял перед ним и не мог произнести ни слова. Наконец он пробормотал:

— Но я... у меня никого здесь нет! Я совсем один.

И он протянул визитную карточку.

Толстый человек взял ее, прочитал и ворчливо сказал:

— Я не знаю, что и делать. Ты передашь хозяину эту карточку через месяц, когда он вернется.

— Но я... я здесь совсем один, он мне так нужен! — воскликнул мальчик умоляющим тоном.

— Ну, ступай! — услышал он в ответ.— Как будто у нас в Розарио мало такой сорной итальянской травы, как ты! Возвращайся просить милостыню к себе на родину.

И слуга захлопнул дверь перед самым носом Марко. Тот остался стоять на месте, как пораженный громом.

Потом он медленно поднял свой мешок и пошел прочь. Сердце его сжимала тревога, в уме, путаясь, проносились одновременно тысячи страшных мыслей. Что делать? Куда идти?

Из Розарио в Кордову надо ехать по железной дороге, а у него только несколько лир. Когда он проживет сегодняшний день, то у него почти ничего не останется. Где достать денег на проезд по железной дороге? Правда, он может работать, но

как найти здесь работу? Просить милостыню? — чтобы тебя могли оскорбить и унизить, как сделал только что этот толстый слуга?.. Нет, никогда в жизни, лучше умереть! И при этой мысли, при виде уходящей вдаль длинной улицы, которая терялась там, в беспредельной равнине, Марко почувствовал, что мужество снова покидает его,— он бросил свой мешок на панель, сел на него, прислонился спиной к стене и закрыл лицо руками; он не плакал, но вся фигура его выражала полное отчаяние. Люди, проходя мимо, задевали его ногами; экипажи наполняли улицу шумом; несколько мальчиков остановились, чтобы посмотреть на Марко. Он оставался неподвижным.

Вдруг он вздрогнул,— кто-то говорил ему, мешая итальянский язык с ломбардским наречием:

— Что с тобой, мальчуган?

Марко поднял голову и тотчас же вскочил на ноги, испустив крик изумления:

— Вы здесь?

Перед ним стоял старый ломбардский крестьянин, с которым он подружился на пароходе. Старик сам был не менее изумлен. Но мальчик не дал ему времени на расспросы и сейчас же начал рассказывать о своих злоключениях.

— И вот я остался без денег,— закончил он,— теперь мне надо работать; найдите мне какую-нибудь работу, чтобы я мог отложить несколько лир; я кое-что умею; я могу разносить товары, подметать улицы, выполнять различные поручения, могу также работать на полях. Мне довольно будет одного черного хлеба, лишь бы я мог скорее уехать, лишь бы я мог найти свою мать! Окажите мне милость, дайте мне возможность работать, найдите мне работу, умоляю вас, а то я не могу больше.

— Ах, черт возьми! — воскликнул старик, оматриваясь кругом и почесывая себе подбородок,— вот история так история! Работать... это легко сказать! Но подумаем немного. Неужели нельзя будет собрать тридцать лир среди наших земляков?

Марко посмотрел на него, окрыленный надеждой.

— Пойдем со мной,— продолжал **крестьянин**.

— Куда? — спросил мальчик, снова поднимая свой мешок.

— Пойдем со мной.

Старик двинулся в путь, и Марко последовал за ним. Они довольно долго шли молча. Наконец крестьянин остановился перед небольшим кабачком. Вместо вывески над дверью была изображена звезда, с надписью под ней «Звезда Италии». Старик заглянул внутрь, затем обернулся к Марко и весело сказал:

— Мы попали в удачную минуту.

Они вошли в комнату, где стояли столы и сидело много мужчин, которые пили и громко разговаривали.

Старый ломбардец подошел к первому столу, и по тому, как он поздоровался с шестью сидевшими вокруг посетителями, видно было, что он сам принадлежит к их компании. Лица у всех были красные, и они со звоном чокались своими стаканами, громко разговаривая и смеясь.

— Друзья,— начал без всяких церемоний ломбардец, указывая на Марко,— этот мальчик — наш земляк, он один приехал из Генуи в Буэнос-Айрес, чтобы найти свою мать. В Буэнос-Айресе ему сказали: «Здесь ее нет больше, она в Кордове». Он на барже доплыл до Розарио, он плыл три дня и четыре ночи. У него было рекомендательное письмо, но когда он подал его, то ему показали язык и захлопнули дверь. У него не осталось больше ни чентезимо. Он здесь один и в полном отчаяния. А я знаю, что он хороший мальчик. Посмотрим, не найдется ли у нас деньжонок ему на билет до Кордовы, где находится его мать? Не оставлять же его без помощи, как собаку?

— Нет, нет! Черт побери! Кто это смеет говорить? — закричали все вместе и застучали кулаками по столу.

— Наш земляк!

— Подойди-ка, малыш!

— Ты увидишь, каковы мы, эмигранты!

— Посмотрите-ка на этого плutiшку!

— Выкладывайте-ка гроши, товарищи!

— Молодец! Один приехал в Америку! Это смело!

— Хлебни-ка глоток, маленький земляк!

— Мы отправим тебя к твоей матери, не сомневайся!

При этом один ласково ушипнул его за щеку, другой похлопал по плечу, третий взял у него из рук мешок.

Другие земляки, сидевшие за соседними столами, встали и подошли поближе.

Рассказ о приключениях Марко быстро облетел весь кабачок. Из соседней комнаты прибежали трое аргентинцев, и меньше чем в десять минут старый ломбардец, который протягивал шапку, собрал сорок две лиры.

— Вот видишь,— обернулся он к мальчику,— как быстро делаются у нас дела.

— Пей! — крикнул ему один из земляков, протягивая стакан вина.— За здоровье твоей матери! — и все подняли свои стаканы.

— За здоровье моей... — хотел повторить Марко, но счастливые рыдания сжали ему горло и, поставив стакан на стол, он бросился в объятия своего престарелого друга.

На рассвете следующего дня Марко уже ехал в Кордову, смелый и веселый, полный счастливых предчувствий. Но бодрое настроение скоро исчезло под мрачным влиянием окружавшей его природы. Погода была пасмурная, небо — серое. Поезд, почти пустой, шел по бесконечной равнине, лишенной каких-либо признаков жилья. Марко был один в длиннейшем вагоне, похожем на фургон для раненых.

Марко смотрел направо, смотрел налево — и видел только бесконечное ровное пространство, усеянное невысокими уродливыми деревцами, с искривленными стволами и ветвями, очертания которых, никогда раньше им не виденные, казалось, выражали не то гнев, не то отчаяние. Скудная, низкая и унылая растительность придавала равнине вид огромного кладбища. Марко подремал с полчасика, потом снова обернулся к окнам: вид оставался всё тем же. Железнодорожные станции стояли одиноко, как хижины отшельников, и когда поезд останавливался, не было слышно ни слова. Марко чудилось, что он один во всем поезде, покинутый посреди пустыни. Ему казалось, что каждая станция — последняя и что сейчас поезд углубится в таинственную и страшную область, населенную дикарями.

Ледяной ветер бил ему в лицо. Когда он садился на пароход в Генуе, в конце апреля, никто не подумал, что в Америку он приедет зимой, и он был одет по-летнему. После нескольких часов пути Марко начал страдать от холода, и вместе с холодом дала себя знать и усталость предыдущих дней, полных бурных переживаний и бессонных, проведенных в пути ночей.

Марко заснул, спал долго и проснулся совсем окоченевший, чувствуя себя очень плохо. Тогда его охватил неясный страх: вдруг он заболеет и умрет в пути, и его бросят здесь, на этой унылой равнине, где собаки и хищные птицы растерзают его тело.

В таком тревожном и болезненном состоянии, среди мрачного молчания природы, воображение его разыгралось, и всё представилось ему в черном цвете: уверен ли он, что действительно найдет свою мать в Кордове? А если ее там нет? Что если синьор с улицы Лос-Артес ошибся? А вдруг она умерла? С такими мыслями он снова заснул, и ему приснилось, что ночью он приехал в Кордову и что из всех дверей, из всех окон ему кричат: «Здесь ее нет! Здесь ее нет! Здесь ее нет!»

Вздрогнув, он в ужасе проснулся и увидел в другом конце вагона трех бородатых мужчин, закутанных в разноцветные платки, которые смотрели на него, вполголоса переговариваясь друг с другом; в уме Марко сверкнуло подозрение, что, может быть, это разбойники, которые хотят его убить, чтобы украсть его мешок. К холоду, к недомоганию прибавился еще и страх, и мысли его, и так уже смутные, совсем смешались.

Тroe мужчин продолжали пристально разглядывать Марко, и один из них даже сделал шаг в его сторону; тогда мальчик совсем потерял рассудок, бросился к ним, раскрыв руки, и закричал:

— У меня ничего нет! Я бедный мальчик. Я приехал из Италии, чтобы найти здесь свою мать, я совсем один, не убивайте меня!

Люди сразу поняли его, пожалели, приласкали и успокоили, говоря ему много слов на языке, которого он не понимал. Видя, что у него стучат зубы от холода, они накинули на него

один из своих платков и снова усадили его на место. Марко заснул с наступлением сумерек, а когда его разбудили, он был уже в Кордове.

Ах, с какой радостью и нетерпением бросился он из вагона! У железнодорожного служащего он спросил, где находится дом инженера Мекинес, и тот назвал ему одну из церквей,— дом находился рядом с церковью. Мальчик побежал туда. Была уже ночь. Марко вошел в город, и когда он увидел те же прямые улицы с теми же беленькими домиками, пересекаемые такими же прямыми и длинными улицами, ему показалось, что он опять попал в Розарио. Но прохожих было мало, и при свете редких фонарей Марко видел странные лица, невиданного им раньше цвета, смугловато-бледные, а поднимая время от времени голову, он различал церкви причудливой архитектуры, которые огромными черными силуэтами вырисовывались на фоне неба.

В городе было темно и тихо, но после той пустыни, которую пришлось пересечь мальчику, город казался ему оживленным. Марко спросил дорогу у встретившегося священника, быстро нашел указанную церковь и дом, одной рукой потянул за звонок, а другую прижал к груди, чтобы сдержать удары своего сердца, готового выскоочить.

Дверь открыла старая женщина со свечой в руке. Мальчик сначала не мог вымолвить ни слова.

— Кого тебе надо? — спросила старуха по-испански.

— Инженера Мекинеса,— сказал Марко.

Женщина скрестила руки на груди и ответила, качая головой:

— Так тебе тоже нужен инженер Мекинес! А мне кажется, что пора было бы уж покончить с этим. Вот уже три месяца, как ко мне пристают по этому поводу. Мало того, что об этом было объявлено в газетах, нужно, очевидно, написать еще на всех углах, что синьор Мекинес уехал в Тукуман.

У мальчика вырвался жест отчаяния. Потом он закричал:

— Да это какое-то проклятье! Я в конце концов умру на улице, так и не найдя своей матери! Боже мой! Я сойду с ума!

А как же называется та страна, куда уехала моя мать, где она находится? Далеко ли отсюда?

— О бедный мальчик,— отвечала служанка,— далеко ли? Да совершенные пустяки, всего каких-нибудь четыреста пятьдесят миль, если не больше.

Марко закрыл себе лицо руками, потом, с рыданиями в голосе, спросил:

— А теперь... что же мне теперь делать?

— Что же я могу тебе сказать, сынок,— ответила женщина,— я не знаю.

Но вдруг ее озарила какая-то мысль, и она поспешно прибавила:

— Слушай, вот что я думаю. Сделай так: поверни направо по этой улице и отсчитай третью дверь от угла. Это будет двор капитаса, торговца, который отправляется завтра утром в Тукуман со своими повозками и быками. Предложи ему свои услуги, не возьмет ли он тебя с собой. Может быть, тебе найдется место на одной из его повозок. Но иди к нему сейчас же.

Марко схватил свой мешок, поблагодарил женщину, побежжал, и через две минуты уже стоял на широком дворе, освещенном фонарями, где разного вида люди укладывали мешки с пшеницей на большие повозки, похожие на фургоны фокусников, с огромными колесами и закругленным верхом. Высокий усатый мужчина, в странной, в черную и белую клетку, накидке и огромных сапогах, распоряжался погрузкой. Мальчик подошел к нему и робко обратился с просьбой помочь ему, объяснив, что он приехал из Италии и ищет свою мать.

Капатас, что означает капитан каравана повозок, осмотрел его с ног до головы и сухо ответил, что у него нет места.

— У меня есть пятнадцать лир,— умоляющим голосом продолжал Марко,— я дам вам эти пятнадцать лир. А в пути я буду работать. Я могу носить воду и давать корм скотине, я готов делать всё, что вы прикажете. Мне довольно будет одного хлеба. Дайте мне маленькое местечко на ваших повозках, синьор!

Капатас обернулся, чтобы посмотреть на Марко, и отвечал ему уже более добродушным тоном:

— У меня нет места... и потом... мы едем не в Тукуман, а в другой город. Сантьяго-дель-Эстero. По дороге мы должны будем покинуть тебя, и тебе придется еще большую часть пути проделать пешком.

— Ах, я пройду сколько угодно! — воскликнул Марко. — Я пойду дальше пешком, не беспокойтесь об этом, я доберусь до своей цели любым путем, но дайте мне mestечко, синьор, на ваших повозках, я прошу, умоляю вас не оставлять меня здесь одного!

— Имей в виду, что наше путешествие продлится двадцать дней.

— Мне всё равно.

— И дорога будет тяжелой.

— Я вынесу всё.

— А дальше ты пойдешь один.

— Я ничего не боюсь. Лишь бы мне найти мою мать. Сжальтесь надо мной, синьор!

Капатас поднес фонарь к самому лицу мальчика и взгляделся в него. Потом заявил:

— Ну ладно.

Марко, благодаря его, поцеловал ему руку.

— Эту ночь ты проспишь в повозке, — прибавил капатас, отпуская его. — Завтра в четыре часа утра я тебя разбуджу. Спокойной ночи.

В четыре часа утра, при свете звезд, длинная вереница повозок со страшным шумом двинулась в путь. В каждую повозку было впряжено по шесть быков, и за каждой шло еще много волов на подставу. Мальчика разбудили, усадили в одну из повозок, на мешки, и он сразу же заснул снова.

Когда он проснулся, караван стоял посреди пустынной местности, солнце светило вовсю и все погонщики сидели около огромного, раздуваемого ветром костра. На воткнутой в землю длинной шпаге, как на вертеле, жарился большой кусок телятины.

Потом они все вместе поели, вымыли посуду, накормили быков, спали и снова двинулись в путь. Так продолжалось путешествие, строго и размеренно, как марш воинской части.

Каждое утро в пять часов пускались в путь, в девять часов останавливались, в пять часов вечера снова снимались с места, и окончательно останавливались на ночь в десять. Погонщики ехали верхом и погоняли волов длинными палками. Марко должен был разводить огонь для жарения телятины, кормить скотину, чистить фонари, приносить воду для питья. Окружающая местность проходила перед его глазами как неясное видение: обширные леса из маленьких коричневых деревьев, деревни, состоящие из нескольких разбросанных домиков с красными, украшенными резьбой фасадами, беспредельные, тянущиеся до самого горизонта участки сверкающей белой соли, быть может когда-то бывшие огромными солеными озерами; и со всех сторон, неизменно,— равнина, пустота, молчание.

Редко-редко навстречу попадались два или три всадника, скакавшие во главе конского табуна; они галопом, во весь опор, как вихрь проносились мимо.

Дни ничем не отличались друг от друга, совершенно так же, как это было на море, и проходили скучно и однообразно. Но погода стояла прекрасная. Однако погонщики, как будто мальчик был их крепостным слугой, становились к нему день ото дня всё требовательнее; некоторые обращались с ним грубо и угрожали ему; все желали, чтобы он служил им: заставляли носить огромные охапки корма, далеко посыпали за водой, а он, разбитый усталостью, не мог даже спать из-за постоянных резких толчков повозки и оглушающего скрипа колес и деревянных осей. Вдобавок поднялся ветер,—тонкая, жирная красноватая, всё окутывающая пыль, постоянная, угнетающая, невыносимая, проникала в повозку, забивалась под одежду, в глаза и в рот, туманила зрение и не давала дышать.

Ослабевший от работы и бессонницы, оборванный и грязный, Марко, которого с утра до вечера ругали и обижали, с каждым днем приходил всё в большее и большее уныние и совсем упал бы духом, если бы сам капатас не поддерживал его время от времени добрым словом.

Часто, забившись в угол повозки, где его никто не видел, Марко плакал, уткнувшись лицом в свой мешок, где оставались одни лохмотья. Каждое утро он вставал всё более слабый и печальный и, глядя кругом, видя всё одну и ту же бесконечную и неумолимую равнину, похожую на океан, он говорил себе: «Ох, я не доживу до сегодняшнего вечера, я не доживу до сегодняшнего вечера. Сегодня я умру на дороге!»

А работать становилось всё труднее, и обращались с ним всё хуже и хуже. Однажды утром, когда он запоздал с водой, один из погонщиков, в отсутствие капатаса, ударил мальчика. И тогда вошло в привычку награждать его подзатыльником при каждом поручении, приговаривая: «Получай, бродяга, отнеси это своей матери!»

Сердце у него разрывалось, и, наконец, он свалился больной. Три дня пролежал он в повозке, покрытой одеялом, трясясь в лихорадке и не видя никого, кроме капатаса, который приходил, чтобы дать ему напиться и пощупать пульс.

Тогда Марко подумал, что умирает, и в отчаянии стал призывать свою мать.

— Мама, мама! — стонал он сотни раз подряд, — спаси меня, приди ко мне, ведь я умираю. Ах, мама, я никогда больше тебя не увижу! Ты найдешь меня мертвым на этой дороге!

Потом благодаря заботам капатаса ему стало лучше, и он поправился; но вместе с выздоровлением настал самый страшный для него за всю дорогу день, — день, когда он должен был остаться один.

Караван находился в пути уже более двух недель. Когда доехали до того места, где от дороги на Тукуман ответвляется дорога на Сантьяго-дель-Эстero, капатас заявил мальчику, что пришла пора расстатьсяся, дал ему несколько указаний относительно пути, пристроил мешок ему на спину так, чтобы он не мешал при ходьбе, и коротко, как будто боясь растрогаться, попрощался с ним. Мальчик едва успел поцеловать хозяину руку.

Все остальные, так жестоко обращавшиеся с ним, видя, что он остается один, казалось, тоже почувствовали к нему жалость и, удаляясь, делали ему прощальные знаки. Он отвечал им, ма-

хая рукой, и долго смотрел вслед каравану, пока тот не исчез в красноватой пыли. Тогда Марко печально двинулся вперед.

Одно, впрочем, с самого начала пути несколько подбодряло его. В продолжение всего путешествия по бесконечной и всегда одинаковой равнине он видел перед собой высочайшую горную цепь, голубую с белыми вершинами, которая напоминала ему Альпы и как бы приближала к родной стране. Это были Анды, становой хребет Американского континента, огромная горная цепь, которая тянется от Огненной Земли до Северного Ледовитого океана, на протяжении ста десяти градусов широты.

Мальчика подбадривало также то, что воздух начал становиться теплее. Это происходило оттого, что, идя на север, он всё больше приближался к тропикам.

Пройдя довольно большое расстояние, Марко оказался посреди небольшого скопления домиков, где в маленькой лавочке купил себе кое-какой еды.

По дороге ему встречались всадники. Иногда он видел сидящих на земле женщин и детей, серьезных и неподвижных, с непривычными для него лицами землистого цвета, хитрыми глазами и выдающимися скулами. Эти люди пристально смотрели на него и долго провожали его взглядом, медленно, как автоматы, поворачивая голову. Это были индейцы.

В первый день он прошел столько, на сколько у него хватило сил, и провел ночь под деревом. На второй день он прошел меньше и в более грустном состоянии духа. Башмаки его были разорваны, ноги стерты, желудок болел от плохой пищи. К вечеру ему стало страшно. Он слышал еще в Италии, что в Америке водятся змеи; теперь ему казалось, что он слышит, как они скользят во мраке,— он останавливался, потом бросался бежать, дрожа от страха.

Иногда ему становилось ужасно жалко самого себя, и он, продолжая путь, молча плакал. Потом он думал: «Как огорчилась бы мама, если бы знала, что я так трушу»,— и эта мысль возвращала ему мужество. Чтобы забыть свой страх, он за-

ставлял себя думать о своей матери, вспоминал, что она говорила, когда уезжала из Генуи, как она по вечерам укрывала его одеялом до самого подбородка, как, когда он был маленьким, она обнимала его и говорила: «Побудь немного вот так, со мной», — и он оставался в таком положении, прижавшись головой к ее голове, и думал, думал. Он мысленно говорил ей: «Увижу ли я еще когда-нибудь тебя, милая мама? Кончится ли когда-нибудь мое путешествие?»

Так он шел и шел, среди незнакомых деревьев, через огромные заросли сахарного тростника и беспредельные луга, неизменно видя перед собой высокие голубые горы, высочайшие пики которых четко вырисовывались на ясном небе.

Прошло четыре, пять дней, неделя.

Силы его заметно падали, ноги сочились кровью.

Наконец в один прекрасный вечер, на закате солнца, ему сказали:

— До Тукумана отсюда пять миль.

У Марко вырвался крик радости, и он ускорил шаги, как будто в одно мгновение к нему вернулись все потерянные силы. Однако так продолжалось недолго. Силы скоро покинули его, и он в изнеможении упал возле дороги. Но сердце у него билось от радости.

Небо, усеянное сверкающими звездами, никогда раньше не казалось ему таким прекрасным. Он долго смотрел на него, растянувшись на траве, и, собираясь уснуть, думал, что, может быть, в эту минуту его мать тоже смотрит на небо.

Потом он прошептал: «Где же ты, мама? Что ты сейчас делаешь? Думаешь ли ты о своем Марко? Вспоминаешь ли ты своего сына, который так близко от тебя?»

Бедный Марко, если бы он видел, в каком состоянии находилась в эту минуту его мать, он сделал бы над собой нечеловеческое усилие, чтобы продолжать путь и прийти к ней несколькими часами раньше!

Она была больна и лежала в комнатке первого этажа богатого поместья дома, где жило семейство Мекинес. Хозяе-

ва очень любили ее и делали для нее все, что могли. Она уже была больна, когда Мекинесу пришлось неожиданно уехать из Буэнос-Айреса, но чистый воздух Кордовы не вернул ей здоровья. Потом, не получая больше ответов на свои письма ни от мужа, ни от его двоюродного брата, она стала жить в постоянной тревоге, в предчувствии какого-то большого несчастья. Она не знала, ехать ли ей домой, оставаться ли на месте, ежедневно ожидала рокового известия, и все это самым пагубным образом отразилось на ее здоровье. В последнее время болезнь ее обострилась, и вот уже две недели, как она не вставала с постели. У нее была грыжа, которая требовала операции. В ту самую минуту, когда Марко мысленно призывал свою мать, у постели больной стояли хозяин и хозяйка, ласково уговаривая ее согласиться на операцию, но она со слезами отказывалась. На прошлой неделе к ней уже приезжал хороший доктор из Тукумана, но все было напрасно.

— Нет, мои дорогие сеньоры,— говорила она,— не надо этого делать. У меня нет больше сил, я умру под ножом хирурга. Лучше дайте мне умереть спокойно. Я не дорожу больше жизнью, для меня все кончено. Пусть я умру раньше, чем узнаю, что случилось с моей семьей.

Напрасно хозяева просили ее не падать духом, говоря, что на последние письма, адресованные непосредственно в Геную, она еще получит ответ, что она должна согласиться на операцию ради своих сыновей. Но мысль о семье только усиливала глубокое отчаяние, которое давно уже охватило ее, и услышав, что говорят о ее сыновьях, больная заплакала.

— Благодарю вас, сеньоры,— сказала она,— благодарю от всего сердца, но мне лучше умереть, я хочу умереть. Видно, судьба моя умереть здесь.

Ослабев, она закрыла глаза и, казалось, задремала.

Хозяева постояли еще некоторое время у ее постели, с состраданием глядя, при слабом свете ночника, на эту мать, которая ради своей семьи уехала за шесть тысяч миль от родины и теперь, так много выстрадав, умирает.

На следующий день, рано утром, с мешком на спине, согнувшись и хромая, но бодрый и радостный, Марко вошел в Тукуман, один из самых молодых и самых процветающих городов Аргентинской республики.

Ему казалось, что он снова видит перед собой Кордову, Розарио, Буэнос-Айрес. Это были те же прямые и длинные улицы и те же невысокие белые домики. Но здесь со всех сторон окружала его пышная, невиданная раньше растительность, ароматный воздух, чудесный свет, чистое и глубокое небо, какого он никогда раньше не видел, даже в Италии.

Шагая по одной из улиц, Марко почувствовал снова то лихорадочное волнение, которое уже испытал в Буэнос-Айресе. Он осматривал окна и двери каждого дома, вглядывался в каждую проходящую женщину, со смутной надеждой встретить свою мать. Ему хотелось расспросить каждого встречного, но он не решался остановить кого-нибудь. Многие с удивлением смотрели на оборванного и покрытого пылью мальчика, который, очевидно, прошел длинный путь.

А он искал среди встречных лицо, которое внушило бы ему доверие, чтобы обратиться со своим робким вопросом. Вдруг над дверью в одну из лавочек он увидел вывеску с итальянской фамилией. Внутри находился мужчина в очках и две женщины. Марко медленно подошел к двери и, набравшись духа, спросил:

— Не сможете ли вы мне сказать, синьор, где живет семейство Мекинес?

— Инженер Мекинес? — переспросил в свою очередь продавец.

— Да, инженер Мекинес, — повторил мальчик прерывающимся голосом.

— Семейства Мекинес, — сказал продавец, — нет сейчас в Тукумане.

Едва раздались эти слова, как у Марко вырвался отчаянный крик. Продавец и женщины вскочили, прибежали несколько человек соседей.

— Что случилось? Что с тобой, мальчик? — спрашивал его хозяин, втаскивая Марко в лавочку и усаживая его. — Нечего

так отчаяваться, черт побери! Семейства Мекинес нет здесь, это правда, но они недалеко, в нескольких часах езды от Тукумана.

— Где? Где? — закричал Марко, вскакивая и снова оживая.

— Милях в пятнадцати отсюда,— продолжал лавочник,— на берегу реки Саладильо, строится большой сахарный завод. Там стоит несколько домиков и дом синьора Мекинеса, это всем известно. Ты доберешься туда за несколько часов.

— Они там уже целый месяц,— прибавил молодой человек, прибежавший на крик Марко.

Марко посмотрел на него расширившимися глазами, и побледнев, быстро спросил:

— Не видали ли вы у синьора Мекинеса служанку итальянку?

— Генуэзку? Как же, видел.

Из груди Марко вырвались рыдания, похожие и на смех и на слёзы.

Потом, охваченный бурным нетерпением, он закричал:

— А как туда идти, по какой улице? Я сейчас же отправлюсь туда, скажите мне скорей, по какой улице!

— Но это целый день пути,— заговорили все окружающие,— а ты устал, должен отдохнуть; отправляйся лучше туда завтра утром.

— Нет, нет, это невозможно,— отвечал мальчик.— Объясните мне только дорогу, я не могу ждать больше ни секунды, я должен сейчас же идти туда, хотя бы мне пришлось умереть на дороге.

Видя его настойчивость, окружающие перестали с ним спорить.

— Ну, счастливого пути,— сказали они ему,— будь осторожен, когда пойдешь через лес. Счастливого пути, маленький итальянец.

Один из мужчин проводил его до выхода из города, указал ему дорогу, дал несколько советов и остался смотреть ему вслед. Через несколько минут фигурка хромающего мальчика с мешком на спине исчезла среди густых, окружающих дорогу деревьев.

Была полночь. Совершенно обессиленный Марко вынужден

был отдохнуть несколько часов, сидя на краю канавы, но теперь он снова шел вперед. Путь его лежал через огромный лес из гигантских деревьев, каких-то растительных чудовищ, с необъятными стволами, похожими на колонны собора, которые на головокружительной высоте соединяли свои посеребренные луной кроны. В окружающем мраке Марко едва различал тысячи стволов и ветвей самых разнообразных очертаний: прямых, согнутых, искривленных, переплетающихся друг с другом. Одни ветки, казалось, застыли в борьбе, другие вытянулись, угрожая. Некоторые лежали, рухнувши на землю, покрытые густой и спутанной растительностью, которая словно боролась за каждую пядь пространства. Другие деревья росли тесными группами, и стволы их поднимались вверх, как гигантские копья, острия которых касались облаков. Это гордо великолепие, этот чудовищный беспорядок огромных силуэтов представляли собой величественное и страшное зрелище. Такой природы, такой растительности Марко никогда еще не видел.

Временами его охватывал непреодолимый страх, но потом мысли опять обращались к матери. Силы его приходили к концу, ноги были в крови, а он все шел один через этот ужасный лес, где редко-редко встречались ему небольшие хижины, жилище человека, да у подножия некоторых деревьев выселились муравейники, а иногда попадались буйволы, спавшие у дороги.

Силы его приходили к концу, но он не чувствовал усталости. Он был один, но не боялся. Величие леса возвышало его душу. Близость матери придавала ему силу и смелость взрослого мужчины. Вспоминание об океане, всех ужасах пути, всех перенесенных и побежденных с таким железным упорством мучениях заставляло его гордо поднимать голову. Недаром в его жилах текла смелая и благородная кровь генуэзцев.

И у него появилось новое чувство: до сих пор, когда он думал о своей матери, лицо ее представлялось ему всегда смутным, потускневшим после двух лет разлуки, но теперь этот образ прояснился, и лицо его матери встало перед ним так отчетливо, как давно уже не бывало. Он видел его прямо перед собой, улыбающееся, живое. Он снова узнавал еле уловимые движения ее глаз и губ, ее манеры, ее жесты, он следил, как на

лице ее отражались ее мысли. И, подстрекаемый, подгоняемый этими воспоминаниями, он ускорял шаги. В сердце у него родилась новая невыразимая нежность, и по щекам его катились тихие и сладкие слёзы.

Подвигаясь во мраке вперед, Марко мысленно разговаривал со своей матерью, говорил то, что он должен был через несколько часов на самом деле шепнуть ей на ухо: «Я здесь, мама, я с тобой... и никогда больше я не покину тебя. Мы вместе вернемся домой, и я ни на шаг не отйду от тебя. На пароходе я буду стоять, тесно прижавшись к тебе, и никто не оторвет меня от тебя, никто и никогда больше, до тех пор, пока я жив!»

И он не замечал, что тем временем на вершинах гигантских деревьев блестящий серебряный свет луны отступал перед нежной белизной рассвета.

В восемь часов утра доктор из Тукумана, молодой аргентинец, стоял у постели больной, вместе со своим помощником, и еще раз пытался уговорить ее сделать операцию. Инженер Мекинес и его жена тоже горячо уговаривали ее согласиться. Но всё было напрасно. Ослабевшая женщина не верила в излечение, она была уверена, что умрет во время операции или несколько часов спустя, перенеся только лишние мучения.

Напрасно доктор повторял ей:

— Но операция не опасна, вы обязательно поправитесь, если только проявите немного мужества, тогда как без операции вы скоро умрете.

Всё было тщетно.

— Нет,— отвечала женщина,— у меня есть еще мужество, чтобы умереть, но нет больше сил страдать. Благодарю вас, синьор доктор, но такова уж, видно, моя судьба. Дайте мне умереть спокойно.

Врач, потерявший надежду, не настаивал больше. Все кругом молчали.

Тогда женщина повернулась лицом к своей хозяйке и слабым голосом обратилась к ней со своей последней просьбой.

— Милая, добная моя синьора,— с трудом говорила она,— пошлите мои небольшие сбережения и мои скромные вещи моей семьи... через господина консула. Я надеюсь, что все мои — живы. Сердце, должно быть, подсказывает мне правду в эти последние минуты. И будьте так добры, напишите им, что я... всё время думала о них... всегда работала ради них... для моих сыновей... Мне больно только то, что я не увижу их больше, но я умираю мужественно, спокойно, благословляя их. Напишите, что я поручаю моему мужу и моему старшему сыну... моего самого младшего мальчика, моего любимого Марко, о котором я думаю в свою последнюю минуту... о мой Марко, мой милый мальчик!..

Но тут, обратив к своей синьоре глаза, полные слёз, она увидела, что той нет около постели,— ее потихоньку вызвали в соседнюю комнату.

Больная хотела обратиться к своему хозяину — он тоже исчез.

Около нее оставался только помощник доктора.

В соседней комнате раздавались быстрые шаги, слышно было, как там о чём-то поспешно шептались, доносились сдержанные восклицания.

Больная смотрела на дверь затуманенными глазами, ожидая. Через несколько минут она увидела, что вошел доктор с взволнованным лицом, затем хозяйка и хозяин, тоже с необычными лицами. Все трое смотрели на нее сे странным выражением и шепотом обменялись несколькими словами. Ей показалось, что доктор сказал синьоре: «Лучше сейчас же».

Несчастная женщина ничего не понимала.

— Хосефа,— сказала ей хозяйка дрожащим голосом,— я должна сообщить тебе радостную весть. Приготовься услышать что-то очень хорошее.

Больная внимательно смотрела на нее.

— Это известие,— продолжала синьора, волнуясь всё более,— принесет тебе большую радость.

Больная широко раскрыла глаза.

— Приготовься,— говорила ей хозяйка,— увидеть кого-то...
кого ты очень любишь.

Женщина порывисто подняла голову и горящими глазами
стала смотреть то на синьюру, то на дверь.

— Кого-то,— прибавила, бледнея, синьора,— кто только что
приехал; неожиданно...

— Кто же это?— воскликнула больная каким-то странным
и как будто сдавленным от страха голосом.

Вдруг из груди ее вырвался громкий крик, она резко при-
поднялась, села на постели, неподвижно, с широко раскрытыми
глазами, и схватилась за голову руками, как будто увидев
перед собой привидение.

На пороге, удерживаемый доктором, стоял оборванный и по-
крытый пылью Марко.

— Боже мой!— воскликнула мать.

Марко бросился к ней, она протянула похудевшие руки и
прижалась к груди, потом она засмеялась, зарыдала и, зады-
хаясь, упала опять на подушку.

Но сейчас же она овладела собой и закричала, обезумев от
радости, покрывая поцелуями голову сына:

— Как же ты очутился здесь? Почему? Неужели это дейст-
вительно ты? Как ты вырос! Кто же привез тебя? Как, один?
Ты здоров? Это ты, мой Марко! Это не сон! Говори же со
мной! — Потом, неожиданно изменившись тоном, она продол-
жала: — Нет, молчи! Подожди!

И, стремительно обернувшись к доктору, она закричала:

— Скорей, скорей, доктор! Теперь я хочу поправиться.
Я готова. Не теряйте ни минуты. Уведите Марко, чтобы он
ничего не слышал. Мальчик мой, это пустяки. Ты мне всё рас-
скажешь потом. Еще один поцелуй! Иди. Теперь я готова,
доктор.

Марко увели. Хозяева быстро вышли, с больной остались
только доктор и его помощник, которые закрыли дверь. Синь-
ор Мекинес хотел увести Марко в дальнюю комнату, но это
оказалось невозможным,— он как будто прирос к полу.

— Что это значит?— спросил он.— Что с моей матерью?
Что с ней делают?

Тогда инженер Мекинес, спокойным голосом, пытаясь всё время увести мальчика подальше, стал объяснять ему:

— Вот что, слушай. Сейчас я тебе всё скажу. Твоя мать больна, ей нужно сделать небольшую операцию; пойдем со мной, я всё тебе объясню...

— Нет,— возразил Марко, не двигаясь с места,— я хочу оставаться здесь, объясните мне всё здесь.

Инженер стал рассказывать ему всё подробно...

Но вот в дверях появился доктор и сказал:

— Твоя мать спасена. Она будет жить.

Марко взглянул на него и вдруг бросился к его ногам, повторяя:

— Спасибо, спасибо, доктор!

Доктор бережно поднял его, говоря:

— Встань... это ты, маленький герой, это ты спас свою мать.

ЛЕТО

Среда, 24 мая

Генуэзец Марко — предпоследний маленький герой, с которым мы познакомились в этом году. Теперь нас ожидает только еще один, в июне.

Вообще нам осталось всего два месячных испытания, двадцать шесть дней занятий, шесть четвергов и пять воскресений. Чувствуется, что наступает конец учебного года. Деревья в саду, покрытые листьями и цветами, бросают приятную тень на гимнастическую площадку. Школьники одеты по-летнему, и когда мы выходим на улицу, то приятно видеть, как всё изменилось по сравнению с прошлыми месяцами. Нет больше волос, падающих на плечи, все головы острижены. Всюду мелькают голые ноги и голые шеи, соломенные шляпы самых разнообразных фасонов, с развевающимися сзади лентами, рубашки и галстуки всех цветов и оттенков. На каждом из малышей сверкает что-нибудь красное или голубое: отвороты, кантики,

кисточки, какая-нибудь яркая тряпочка, пришитая заботливыми материнскими руками, чтобы ее сынок выглядел понаряднее. Принарядились даже самые бедные.

Некоторые мальчики приходят в школу без пальто, как будто они случайно выбежали из дома. Многие носят белые спортивные костюмы. Один малыш из класса учительницы Делькати одет с головы до ног во всё красное и похож поэтому на вареного рака. Кое-кто щеголяет в матросских костюмчиках.

Но лучше всех выглядит Кирпичонок: он надел соломенную шляпу, которая делает его похожим на свечу под абажуром, и нельзя удержаться от смеха, когда он строит свою «заячью мордочку» из-под этого головного убора.

Коретти снял свой берет из кошачьего меха и теперь ходит в сером шелковом дорожном картузе. Вотини одет в шотландский костюм и выглядит очень элегантно. Кросси щеголяет с открытой грудью. Прекосси утопает в синей блузке кузнеца.

А Гароффи? Ему пришлось расстаться с накидкой, под которой он прятал свои товары, и теперь всем видны его карманы, набитые всякой всячиной.

Сейчас хорошо видно, что у кого в карманах: сложенные из газетной бумаги веера, дудочки, рогатки, чтобы стрелять в птиц, всякие травки, майские жуки, которые вылезают из карманов и потихоньку ползают по курточкам.

Многие малыши приносят учительницам букетики.

Учительницы тоже все одеты по-летнему в светлые или яркие платья. Только «монашка» по-прежнему во всем черном, да учительница с красным пером на шляпе не заменила его ничем другим, но зато повязала себе на шею розовый бант, весь измятый лапками ее учеников, с которыми она всё время бегает и смеется.

Настало время черешен, бабочек, музыки на улицах и поездок за город. Многие мальчики из четвертого класса уже бегали купаться в По.

Все уже мечтают о каникулах.

Каждый день мыходим из школы всё более нетерпеливые и веселые.

Мне грустно только смотреть на Гарроне, одетого в траур

и на мою бедную учительницу первого класса, которая с каждым днём всё худеет и бледнеет, и всё больше кашляет. Она теперь ходит сгорбившись и так грустно со мной здоровается.

ШКОЛА

Пятница, 26 мая

Ты начинаешь уже понимать, Энрико, всё поэтическое очарование школы. Но теперь ты видишь свою школу только изнутри, а она покажется тебе еще намного прекраснее и поэтичнее лет через тридцать, когда ты посмотришь на неё со стороны, прохожая туда своих сыновей. Ты увидишь её тогда такой, какой я вижу ее сейчас. Ожидая тебя, я повернул по пустынной улице, обошел здание и прислушался к тому, что происходило за окнами первого этажа, закрытыми ставнями.

У одного из окон я услышал голос учительницы, которая говорила: «Ах, какое огромное «Т», сынок мой, это не годится...» Из соседнего класса слышался громкий голос учителя; он диктовал: «Купили пятьдесят метров материи... по четыре лиры пятьдесят центезимо за метр... перепродали ее...»

Потом я услышал, как учительница с красным пером на шляпе читала вслух: «Тогда Пьетро Микка с зажженным фитилем...»

В следующем классе что-то журжало, как будто в нем заперта была стайка птиц,— это означало, что учитель на минуту вышел из класса.

Я пошел дальше и, повернув за угол, услышал, как кто-то из школьников плачет, а учительница и укоряет и утешает его. Из других окон до меня долетали стихи, имена великих людей, отрывки фраз, в которых говорится о доблести, любви к родине, мужестве.

Потом следовали минуты молчания, когда казалось, что школа совершенно пуста, и трудно было представить себе, что в здании находится семьсот мальчиков.

Затем слышались громкие взрывы веселого смеха, вызванные шуткой хорошо настроенного учителя.

Проходящие мимо люди останавливались и прислушивались, и все ласково смотрели на благородное школьное здание, в котором находилось сейчас столько молодости и столько надежд.

Потом вдруг раздался глухой шум, мы услышали, как захлопывались книги и закрывались сумки, как затопали ноги... Жужжание побежало из класса в класс и снизу вверх, как будто бы по всей школе распространялась добрая весть: это сторож обходил классы, объявляя о конце занятий.

Тогда толпа женщин, мужчин, мальчиков, юношей бросилась со всех сторон к дверям школы, навстречу сыновьям, братьям, племянникам.

И вот из дверей младших классов словно фонтан забил. Это начали высакивать в залу малыши, хватать свои пальтишки и шапочки, в ужасном беспорядке кружка по зале, пока сторож не переловил их одного за другим. И, в конце концов, они вышли длинной шеренгой, отбивая такт ногами.

Тут со стороны ожидающих родителей посыпался дождь вопросов:

- Хорошо ли ты знал урок?
 - Какую ты получил отметку?
 - Что вам задано на завтра?
 - Когда начнутся месячные испытания?
- И даже те матери, которые сами не умеют читать, открывали тетради, рассматривали задачи, интересовались отметками:
- Как, только восемь?¹
 - Десять с плюсом?
 - Девять за домашнее задание?

Они и тревожились, и радовались, и спрашивали учителей, и говорили о программах и об экзаменах.

Как всё это прекрасно! Как величественно! Какая в этом огромная надежда для всего человечества!

Твой отец.

¹ В Италии принята десятибалльная система оценок.

ГЛУХОНЕМАЯ

Воскресенье, 28 мая

Вот и окончился месяц май, и как чудесно окончился! Сегодня утром раздался звонок. Мы все бросились в переднюю и услышали, как отец говорил удивленным голосом:

— Как, это вы, Джорджо?

Это был Джорджо, наш садовник из Кьери, семья которого живет в Кондове; сам он только что приехал из Генуи, куда прибыл накануне, проработав три года в Греции на железной дороге.

В руках у него был громадный узел. Он немного постарел, но был такой же румяный и веселый.

Мой отец пригласил его зайти, но он отказался и сразу же спросил, причем лицо его сделалось серьезным:

— Ну, а как моя семья? Как Джиджа?¹

— Хорошо,— ответила мама.

Джорджо с облегчением вздохнул.

— Ну слава богу,— сказал он.— У меня не хватало духа пойти прямо в институт глухонемых; не узнав раньше, как она. Я пока оставлю у вас свой узел, а сам скажу за ней. Три года, как я не видел свою девочку! Три года, как я не видел никого из своих!

Мой отец велел мне проводить Джорджо до института.

— Простите, еще одно слово,— сказал садовник, останавливаясь на площадке лестницы.

Мой отец прервал его:

— Ну, а как дела?

— Хорошо,— ответил тот,— слава богу, несколько сольдо я привез-таки домой. Но вот что я хотел у вас спросить. Чему там научили мою немушу? Говорят ли она хоть немножко? Когда я расстался с ней, она была, бедняжка, совсем как маленький зверек. Я-то мало верю всем этим институтам. Ее научили говорить знаками? Правда, жена мне писала: «Она учится говорить, делает успехи». Но какой смысл, скажу я вам, что она научилась говорить знаками, если я их не понимаю

¹ Джиджа — уменьшительное имя от Луиджа.

и не умею делать? Как мы будем объясняться с моей бедной малюткой? Эти знаки хороши для немых, которые могут понять друг друга. Так как же обстоит дело?

Отец улыбнулся и ответил:

— Я ничего не хочу говорить вам, вы всё увидите сами. Идите же, идите, не отнимайте у нее больше ни одной минуты.

Мы вышли. Институт находился совсем близко. Пока мы шли по улице, садовник разговаривал со мной и делался всё более и более грустным:

— Ах, моя бедная Джиджа! Родиться с таким пороком, быть глухонемой! Подумать только, я ни разу не слышал от нее слова «отец», и она никогда не слышала от меня «доченька». Она ни разу в жизни не сказала и не услышала ни слова. И счастье еще, что нашелся добрый синьор, который взял на себя расходы по институту. Но вот... до восьми лет ее не могли туда принять. Три года меня не было дома. Теперь ей уже одиннадцатый год. Она выросла, скажи-ка мне, за это время? Она довольна, счастлива?

— Сейчас увидите, сейчас увидите,— отвечал я ему, ускоряя шаги.

— Но где же этот институт? — спрашивал он.— Жена отвела туда дочку уже после моего отъезда. Мне кажется, что он должен быть где-то здесь.

Наконец мы пришли и сразу же поспешили в приемную. Навстречу нам вышел швейцар.

— Я отец Джиджи Воджи,— сказал садовник,— скорей... скорей... мою дочь...

— У них как раз перемена,— ответил швейцар,— я сейчас доложу учительнице,— и он исчез.

Джорджо не мог больше ни говорить, ни стоять на месте; он рассматривал картины на стенах, ничего на них не видя.

Дверь отворилась, и вошла учительница, одетая в черное, ведя за руку девочку.

Одно мгновение отец и дочь смотрели друг на друга, потом с криком бросились друг другу в объятия.

Девочка, одетая в полосатое, белое с розовым, платье и се-

рый передник, была выше меня ростом. Она плакала и обнимала своего отца обеими руками за шею. Потом садовник немного отстранил ее от себя и оглядел с ног до головы. Глаза его блестели, и он дышал тяжело, как после долгого бега. Наконец он воскликнул:

— Как же она выросла! Какая она стала красивая! Ах ты моя милая, несчастная Джиджа! Моя немуша! Это вы, синьора, ее учительница? Прикажите-ка ей, пусть она мне что-нибудь скажет своими знаками, может быть я хоть кое-что разберу, а потом научусь понемножку понимать ее как следует. Пусть она мне что-нибудь объяснит по-своему.

Учительница улыбнулась и тихо спросила у девочки:

— Кто это за тобой приехал?

И тогда девочка, каким-то хриплым, странным и однообразным голосом, как иностранец, который впервые заговорил на нашем языке, но совершенно отчетливо, улыбаясь произнесла:

— Э-то мой о-тец.

Садовник отскочил назад и закричал, как безумный:

— Она говорит! Да как же так, как же это? Говорит? Ты говоришь, доченька, говоришь? Скажи-ка, ты вправду говоришь? — И он опять обнял ее и три раза поцеловал в лоб. — Так, значит, ее не знаками научили говорить, синьора учительница, не пальцами? Да как же это так?

— Нет, синьор Воджи,— ответила учительница,— не знаками. Это уже устаревший метод. Теперь мы учим их по новому, звуковому методу. Разве вы этого не знали?

— Нет, я ничего не знал,— отвечал пораженный садовник.— Меня три года не было в Италии. Мне, правда, писали об этом, да я не понял, ведь у меня все равно что деревянная башка. Ах, доченька моя, так ты, значит, меня понимаешь, ты слышишь меня? Отвечай-ка мне, ты слышишь, ты слышишь, что я говорю?

— Ну нет,— вмешалась учительница,— вашего голоса она не слышит, так как она глуха. Но по движению ваших губ она понимает слова, которые вы произносите. Вот в чем весь секрет. Она не слышит ни вас, ни тех слов, которые говорит

сама; она произносит их потому, что мы выучили ее буква за буквой, как складывать губы и двигать языком, как нужно при этом дышать и как напрягать горло, для того чтобы издавать звуки.

Садовник не понимал и стоял с открытым ртом. Он всё еще не верил, что его дочь может говорить.

— Скажи-ка мне, Джиджа,— шепнул он ей на ухо,— рада ли ты, что твой отец вернулся?

И он выпрямился, ожидая ответа.

Девочка задумчиво посмотрела на него, но ничего не ответила.

Отец смущился.

Учительница засмеялась, а потом сказала:

— Мой друг, она не отвечает вам, потому что она не видела движений ваших губ, ведь вы говорили ей на ухо! Повторите свой вопрос так, чтобы ваше лицо было ей хорошо видно.

Садовник, глядя прямо на дочь, повторил:

— Рада ли ты, что твой отец вернулся и что он не уедет больше?

Девочка, которая всё время внимательно смотрела на его губы, пытаясь заглянуть даже в рот, ясно ответила:

— Да, я ра-да, что ты вер-нул-ся и боль-ше ни-ко-г-да не у-е-дешь.

Отец восторженно обнял ее, а затем, желая еще раз убедиться, что она, действительно, говорит, он быстро-быстро стал задавать ей вопросы:

— Как зовут твою маму?

— Ан-тония.

— Как зовут твою младшую сестренку?

— А-де-ланда.

— Как называется эта школа?

— Шко-ла глу-хо-не-мых.

— Сколько будет дважды десять?

— Двадцать.

Мы думали, что он захочет от радости, а он вдруг запла-
кал. Но это всё-таки были слёзы радости.

— Успокойтесь,— сказала ему учительница,— вы должны

радоваться, а не плакать. Вот видите, теперь заплакала и ваша дочь! Ну разве это хорошо?

Садовник схватил руку учительницы и стал целовать ее, говоря:

— Спасибо, спасибо, тысячу раз спасибо, дорогая синьора учительница, и простите меня, что я не умею этого сказать по-другому.

— Но ваша дочь научилась у нас не только говорить,— продолжала учительница,— она научилась читать и считать. Она знает названия всех обычно окружающих нас вещей и немного историю и географию. Сейчас она в начальном классе. Окончив следующие два класса, она будет знать еще больше, а когда выйдет от нас, то в состоянии будет выбирать себе какую-нибудь профессию. Две глухонемые девушки, кончившие нашу школу, работают сейчас в магазинах, обслуживаю там покупателей иправляются со своим делом не хуже других.

Садовник снова страшно удивился. Казалось, что всё перепуталось у него в голове. Он смотрел на свою дочь, тер себе лоб, и по лицу его было видно, что ему далеко не все еще понятно.

Тогда учительница обернулась к швейцару и попросила его привести ученицу из приготовительного класса.

Через несколько минут швейцар вернулся с девочкой лет восьми-девяти, которая только несколько дней тому назад поступила в институт.

— Эту бедняжку,— сказала учительница,— мы только начинаем учить. Вот как это делается. Я хочу, чтобы она сказала «е». Смотрите.— Учительница открыла рот так, как это требуется для произношения «е», и знаками показала девочке, чтобы та сделала то же самое. Та послушалась. Тогда учительница знаками показала, чтобы девочка издала звук. Та издала его, но вместо «е» у нее вышло «о».

— Нет,— сказала учительница,— это неверно.— И, взяв обе руки девочки, она одну из них приложила к своей шее, а другую — к груди, и повторила: — «е».

Девочка, которая ощущала теперь движение горла и дыхание учительницы, снова открыла рот и четко произнесла «е».

Таким же образом учительница заставила свою маленькую ученицу произнести звуки «с» и «д», не отнимая ее рук от своего горла и груди.

— Ну, поняли вы теперь? — спросила она садовника.

Да, теперь он понял, но казался еще более удивленным, чем раньше, когда не понимал.

— И так вы учитите их говорить? — спросил он после минутного размышления, глядя на учительницу. — И у вас хватает терпения учить так, мало-помалу всех глухонемых, одного за другим, год за годом? Но тогда вы просто святы! Вы просто ангелы небесные! И во всем мире нет для вас достаточной награды!.. Но что я еще хотел сказать?.. Да, вот что, позвольте мне, пожалуйста, хоть пять минут поболтать наедине с моей дочкой.

Он усадил ее в сторонке и начал расспрашивать. Джиджа отвечала ему, а он смеялся, глаза его блестели, он бил кулаком себя по коленям, держал девочку за руки, смотрел на нее и вне себя от счастья слушал ее голос, как будто это был голос, идущий прямо с неба.

Потом он спросил у учительницы:

— Не смогу ли я поблагодарить синьора директора?

— Директора сейчас здесь нет, — ответила учительница, — но есть кто-то другой, кого вам следует поблагодарить. У нас каждая новенькая девочка поступает на попечение одной из старших учениц, которая старается ей заменить сестру или мать. За вашей девочкой ухаживала одна славная глухонемая семнадцати лет, дочь булочника, которая очень полюбила Джиджу. Вот уже два года, как она каждое утро помогает ей одеваться, причесывает ее, учит ее шить, чинит ей платье, проводит с ней свободное время. Луиджа, как зовут твою маленькую маму?

Девочка отвечала с улыбкой:

— Кате-рина Джордано. — Потом она прибавила, обращаясь к своему отцу: — о-чень, о-чень хо-ро-шая.

По знаку учительницы швейцар снова вышел и сейчас же вернулся с глухонемой девушкой. Это была рослая блондинка с веселым лицом, одетая также в розовое полосатое платье и

серый передник. Девушка остановилась в дверях и покраснела. Потом, рассмеявшись, опустила голову. У нее была фигура взрослой женщины, но казалась она девочкой.

Дочка Джорджа бросилась ей навстречу, взяла за руку, как ребенка, и потащила к отцу, говоря при этом своим хриповатым голосом:

— Ка-те-рина Джордано.

— Ах, милая барышня! — воскликнул садовник и протянул было руку, чтобы приласкать ее, но не решился и продолжал повторять: — Ах, милая барышня, бог да благословит вас. Да пошлет вам небо радость и утешение, будьте вы и все ваши близкие всегда счастливы. Вы славная девушка... Я простой рабочий, бедный отец семейства, и я от всего сердца желаю вам счастья!

Старшая девушка ласкала младшую, не поднимая глаз и не переставая улыбаться, а садовник продолжал смотреть на нее, как на мадонну.

— На сегодня вы можете взять к себе свою дочку, — сказала учительница.

— Еще бы я не взял ее! — отвечал Джорджо. — Я увезу ее с собой в Кондову и верну ее вам завтра утром... Вот было бы здороно, если бы я не взял ее!

Тем временем Джиджа убежала, чтобы одеться.

— Это после трех-то лет, что я ее не видел! — не унимался садовник, — да тем более, что она теперь говорит... Да я сейчас же увезу ее с собой в Кондову. Но сначала я хочу пройтись по Турину под руку с моей «немушей», чтобы все ее видели, повести ее ко всем своим знакомым, чтобы все ее слышали! Ах, какой замечательный денек! Вот это, что называется, утешили! Возьми под руку своего отца, Джиджа!

Девочка, которая вернулась в накидке и капоре, взяла его, под руку.

— Спасибо вам всем, — сказал ее отец, уже в дверях. — Спасибо от всего сердца. Я как-нибудь еще раз зайду, чтобы как следует поблагодарить всех!

Он остановился, подумал, потом вдруг бросил руку дочери,

вернулся обратно и, шаря в кармане жилета, закричал как одержимый:

— Ну что ж, я бедный малый, но вот я дарю двадцать лир вашему институту, хорошенькую, совершенно новенькую золотую монету! — и, изо всей силы ударив по столу, он положил на него золотой.

— Нет, нет, друг мой,— возразила ему тронутая учительница,— возьмите обратно ваши деньги, я не могу принять их, возьмите их. Я тут ни при чем. Вот когда приедет директор... Но и он тоже не примет от вас денег, уверяю вас. Ведь вам стоило не малого труда заработать их. Мы и так вам очень благодарны.

— Нет, я оставлю их,— настаивал упрямый садовник,— а там... видно будет.

Но учительница сунула ему монету обратно в карман, не давая опомниться.

Тогда он покорился, опустив голову. Потом, быстро послав воздушный поцелуй учительнице и девушки, снова взял под руку свою дочь и бросился, как безумный, к выходу, крича:

— Пойдем, пойдем, доченька, пойдем, моя немуша, мое сокровище!

А девочка воскликнула своим хриповатым голосом:

— Ка-кое солнце!

Июнь

ГАРИБАЛЬДИ

3 июня. Завтра день национального праздника

Сегодня вся страна в трауре. Вчера вечером умер Гарибальди. Знаешь ли ты, кто такой Гарибальди? Это тот, кто освободил десять миллионов итальянцев от тирании Бурбонов.

Он родился в семье капитана, в Ницце, и достиг сорока пятилетнего возраста.

Когда ему было восемь лет, он спас жизнь женщине, в тринацать — благополучно привел в гавань полную людей лодку, которая тонула, в двадцать семь — вытащил из воды на марсельском взморье утопающего мальчика, в сорок один — спас загоревшийся посреди океана корабль.

Десять лет сражался он в Америке за свободу чужого ему народа.

Он участвовал в трех войнах против австрийцев за освобождение Ломбардии и Триентской области.

В 1849 году он защищал Рим от французов, в 1860 — освободил Палермо и Неаполь, в 1867 — снова сражался за Рим, в 1870 — дрался с немцами, защищая Францию. Пламя героизма горело в его душе, и военный гений витал над ним. Он участвовал в сорока битвах, и в тридцати семи из них оказался победителем.

Когда он не воевал, то трудился, зарабатывая себе на жизнь или, удалившись на пустынный остров, обрабатывал землю. Ему пришлось быть учителем, моряком, рабочим, тор-

говцем, солдатом, полководцем, верховным правителем. Он был великим, простым и добрым, ненавидел всех поработителей, любил все народы, защищал всех угнетенных. У него не было иной цели, кроме стремления к доброму, он отказывался от почестей, презирал смерть, безгранично любил Италию.

Когда раздавался его голос, зовущий на бой, легионы смелых устремлялись к нему со всех сторон: синьоры покидали свои дворцы, рабочие уходили из мастерских, дети — из школ, чтобы сражаться в лучах его славы.

На войне он носил красную рубашку... Статный, белокурый, он был прекрасен.

В битвах он разил как молния, но сердцем был ребенок, а страдания переносил как святой.

Тысячи итальянцев погибли за свою родину, но они были счастливы, если видели, умирая, как он вдалеке проносится победителем.

Он умер. Весь мир оплакивает его. Ты не можешь понять этого сейчас, но потом ты прочитаешь о его подвигах и всю жизнь будешь слышать рассказы о нем. Ты будешь расти, но образ его будет расти перед тобой еще быстрее. Когда же ты станешь взрослым, то увидишь его перед собой гигантом. А когда тебя не будет больше на свете, когда не останется на земле ни сыновей твоих сыновей, ни детей, рожденных ими, и тогда еще люди будут видеть высоко над собой лучезарное чело освободителя народов, увенчанное, словно ореолом из звезд, именами его побед, и сердце каждого итальянца будет загораться гордостью и любовью при одном звуке его имени.

Твой отец.

32 ГРАДУСА

Пятница, 16 июня

За последние дни жара увеличилась еще на три градуса.

Теперь лето уже в полном разгаре, все устали и на лицах не видно больше яркого весеннего румянца. Шеи и ноги у всех похудели, головы склоняются, глаза готовы сомкнуться.

У бедного Нелли, который плохо переносит жару, лицо стало совсем восковым, и он уже несколько раз глубоко засыпал, опустив голову на тетрадь. Но Гарроне всегда в таких случаях ставит перед ним открытую книгу, чтобы учитель ничего не заметил.

Нобис жалуется, что нас слишком много в классе и поэтому ему нечем дышать.

Ах, какие усилия нам приходится делать, чтобы всё-таки учиться.

Я смотрю из окон нашего дома на огромные деревья — в их густой тени так хорошо было бы побегать, — и мне становится грустно и досадно, что я должен идти в школу и сидеть в закрытом классе за партой. Но потом я приободряюсь, когда вижу, с какой тревогой мама смотрит мне в лицо — не слишком ли я бледен, — встречая меня при выходе из школы.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спрашивает она меня по вечерам, после каждой выученной страницы урока; и ежедневно в шесть часов утра, когда она будит меня, чтобы идти в школу, то говорит: — Ну, сделай еще одно усилие! Ведь осталось всего столько-то дней, а потом ты будешь свободен и отдохнешь, гуляя в тени аллей.

И она права, напоминая мне о мальчиках, работающих на полях, под палящими лучами солнца, или на ослепляющих и раскаленных белых речных песках. А те, которые заняты на стеклянных фабриках и должны стоять целый день неподвижно, наклонив лицо над газовой горелкой! И встают они все раньше нас и никогда не имеют каникул. Итак, надо держаться! И тут Деросси тоже оказался среди нас на первом месте: он не страдает от жары, не хочет спать, он всё такой же живой и веселый, с теми же золотыми локонами, что и зимой, так же учится без всякого труда и подбадривает всех кругом.

И еще двое у нас в классе всегда бодры и внимательны: это Старди и Гароффи. Упрямец Старди щиплет себя за щёки, чтобы не заснуть, и чем больше размаривает его жара, тем сильнее сжимает он зубы и шире раскрывает глаза, как будто хочет съесть ими учителя.

А делец Гароффи увлечен тем, что мастерит из красной бу-

маги веера, украшенные картинками со спичечных коробок; потом он продает эти веера по два центезимо за штуку.

Но самый большой молодец у нас Коретти: он, бедный, каждое утро встает в пять часов и помогает своему отцу носить дрова. Поэтому к одиннадцати часам, в классе, у него начинают слипаться глаза и голова опускается на грудь. Однако он изо всей силы борется со сном, стучит себя кулаком по затылку, спрашивает разрешения выйти, чтобы вымыть лицо, просит своих соседей, чтобы те щипали его.

Но сегодня утром он не выдержал и заснул мертвым сном. Учитель громко позвал его:

— Коретти!

Но мальчик не рассыпался. Рассерженный учитель еще раз повторил:

— Коретти!

Тут сын угольщика, который живет с ним рядом, встал и сказал:

— Коретти с пяти до семи утра носил дрова.

Тогда учитель оставил его в покое и продолжал вести урок, а через полчаса подошел к парте Коретти и тихонько, дунув ему в лицо, разбудил его. Тот, увидев перед собой учителя, страшно испугался.

Но учитель взял его голову обеими руками, поцеловал в волосы и сказал:

— Я не буду бранить тебя, не бойся; не лень заставила тебя заснуть, а усталость.

МОЙ ОТЕЦ

Суббота, 17 июня

Я уверена, что ни твой товарищ Коретти, ни Гарроне никогда не ответили бы своему отцу так, как ты ответил мне сегодня вечером.

Энрико! Как мог ты это сделать?

Ты должен обещать мне, что пока я жива, этого больше никогда не будет.

Каждый раз, когда в ответ на замечание, сделанное тебе отцом, у тебя готово будет сорваться с языка глупое слово,

подумай о том, что наступит день и твой отец позовет тебя к своей постели, чтобы сказать: «Энрико, я покидаю тебя!»

Когда ты услышишь его голос последний раз и потом, когда будешь один плакать в его опустевшей комнате, среди книг, которых он не откроет больше, тогда, при мысли о том, что ты когда-то отвечал ему грубо, ты сам себя спросишь с удивлением: «Неужели я мог это сделать?»

Тогда ты поймешь, что твой отец был для тебя всегда самым лучшим другом, и когда он вынужден был наказывать тебя, он страдал от этого больше, чем ты сам, и если он и заставлял тебя иногда плакать, то для твоего же блага. И тогда ты раскаешься и со слезами будешь смотреть на стол, за которым он провел свою жизнь, работая ради своих детей.

Сейчас ты не можешь еще понять, что твой отец, которого ты видишь всегда добрым и любящим, многое скрывает от тебя. Ты не знаешь, как часто он бывает совершенно разбит от усталости и тогда боится, что ему лишь немного дней осталось прожить на свете.

В такие минуты он говорит только о тебе и на сердце у него одна забота,— страх оставить тебя без средств и без помощи. Как часто, подавленный такими мыслями, входит он в твою комнату, когда ты спишь, стоит около твоей постели со свечой в руке и смотрит на тебя; потом он делает над собой усилие и усталый и грустный возвращается опять к своей работе.

Он часто ищет твоего общества, потому что ему хочется быть с тобой в те минуты, когда на сердце у него тяжело, когда у него бывают неприятности, как и у всех людей на свете; он ищет в тебе друга, чтобы утешиться и забыться, ему нужна тогда твоя любовь, чтобы обрести ясность духа и мужество.

Подумай, как ему должно быть больно, когда, вместо ответной любви, он находит в тебе равнодушие и грубость!

Не выказывай же больше никогда, Энрико, такой ужасной неблагодарности!

Подумай о том, что даже если ты будешь стараться изо всех сил, ты всё равно никогда не сумеешь возместить всего того, что он сделал и продолжает делать для тебя.

И подумай еще вот о чём: что такое наша жизнь? Несчаст-

ный случай может отнять у тебя твоего отца, пока ты еще ребенок, через два года, через три месяца, завтра.

Ах, бедный мой Энрико, как всё тогда сразу же изменится вокруг тебя, каким пустым и унылым покажется тебе дом, где ты будешь видеть свою мать, одетую в черное.

Ступай же, мой сын, ступай к своему отцу: он сидит в соседней комнате и занимается. Подойди к нему на цыпочках, чтобы он тебя не услышал, положи голову ему на колени и попроси у него прощения.

Твоя мама.

ПРОГУЛКА

Понедельник, 19 июня

Мой отец снова простил меня и позволил мне поехать на прогулку, о которой мы еще в среду условились с отцом Коретти, продавцом дров.

Это был настоящий праздник.

Вчера в два часа мы встретились на площади Статуто: Деросси, Гарроне, Гароффи, Прекосси, отец и сын Коретти и я. С собой у нас были фрукты, сосиски и крутые яйца. Мы взяли также жестяные кружки и кожаные стаканчики.

Гарроне принес тыквенную бутылку с белым вином, а Коретти — солдатскую фляжку своего отца, полную красного вина.

Маленький Прекосси, одетый в блузу кузнеца, держал под мышкой двухкилограммовый хлеб.

Мы доехали на омнибусе до Гран-Мадре-ди-Дио¹, а потом побежали вверх, на холмы. Какая кругом была зелень, какая тень, какая прохлада!

Мы кувыркались в траве, плескались в ручьях, прыгали через изгороди.

Коретти-отец шел далеко позади, набросив куртку на плечи. Он курил свою гипсовую трубку и время от времени издали грозил нам, чтобы мы не порвали штаны.

¹ Гран-Мадре-ди-Дио — знаменитый собор в Турине, в котором короновались пьемонтские короли.

Прекосси насвистывал,— мы никогда раньше не слышали, чтобы он насвистывал.

Коретти-сын на ходу всё время что-то мастерил своим складным ножичком длиной в палец; он всё умеет делать, этот парнишка,— мельничные колёса, вилки, дудочки.

Он обязательно хотел нести все вещи и нагружился так, что пот лил с него градом, но это не мешало ему быть ловким, как козленок.

Деросси каждую минуту останавливался и говорил, как называется какой-нибудь цветок или насекомое,— и как это он умудряется знать столько вещей!

Гарроне молча жевал хлеб; когда кто-нибудь из нас разбегался, чтобы перепрыгнуть через канаву, он подбегал с другой стороны и протягивал руку. А когда нам встречалась корова, то Гарроне сейчас же становился перед Прекосси, которого в детстве как-то забодала корова и который поэтому страшно их боялся.

Мы взобрались на вершину Санта-Маргариты и начали большими прыжками сбегать с нее вниз или скатываться кувырком.

Прекосси налетел на куст, разорвал свою блузу и остановился страшно смущенный, глядя на висевший лоскут, но Гарофи, у которого в куртке всегда найдется несколько булавок, заколол ему прореху так, что она стала совсем незаметной, в то время как Прекосси повторял: «Прости меня, пожалуйста, прости меня...» — а потом снова бросился бежать.

Гарофи не терял времени напрасно: по дороге он рвал травы, которые могли пригодиться для салата, собирая улиток и клал себе в карман каждый блестящий камешек, думая, что, может быть, в нем есть золото или серебро.

И так, то бегом, то кувырком, то ползком, то в тени, то под солнцем, вверх и вниз, по тропинкам и направимик, добрались мы наконец, разгоряченные и запыхавшиеся, до вершины одного из холмов, где и уселись, чтобы закусить.

Отсюда нам видна была вся огромная равнина и голубые Альпы со своими снеговыми вершинами.

Мы просто умирали от голода, и хлеб так и таял у нас во рту.



Отец Коретти разложил сосиски на тыквенных листьях, и, закусывая, мы принялись болтать о наших учителях, о тех товарищах, которые не смогли поехать с нами, и об экзаменах.

Прекосси стеснялся есть в таком большом обществе, и Гарроне насилино засунул ему в рот самый вкусный кусочек из своей собственной доли.

Коретти примостился около своего отца, скрестив ноги, и видя, как они сидят рядом, оба рыжие и улыбающиеся, с ослепительно белыми зубами, можно было скорее принять их за двух братьев, чем за отца с сыном.

Отец пил с удовольствием, доканчивая наши кружки и стаканчики, которые мы оставили до половины полными, и при этом приговаривал:

— За ваше здоровье, за здоровье тех, кто учится, вам вино вредно, зато оно полезно тем, кто занимается продажей дров!

Потом он схватил и потянул за нос своего сына, говоря:

— Любите этого паренька, мальчики, он честный человек, уж поверьте в этом мне, его отцу!

Мы все, за исключением Гарроне, засмеялись, а отец Коретти продолжал:

— Да, жаль! Вот сейчас вы все вместе, все хорошие товарищи, а пройдет несколько лет, и, кто знает, Энрико и Деросси станут адвокатами или профессорами, или чем там еще, а остальные четверо окажутся в лавке, или за станком, или еще черт знает где! И тогда — прощай, дружба!

— Ну, нет,— возразил Деросси,— для меня Гарроне всегда останется Гарроне, Прекосси всегда будет Прекосси и остальные тоже, хотя бы я стал самим императором; где будут они, туда пойду и я.

— Ты молодчина,— воскликнул отец Коретти, подняв свою фляжку,— ты правильно говоришь, черт возьми! Чокнемся! Да здравствуют славные товарищи, и да здравствует также школа, которая делает из вас всех, богатых и бедных, одну семью!

Мы все чокнулись с ним своими кружками и стаканчиками и допили всё до конца.

Потом он встал на ноги, воскликнул:

— Да здравствует сорок девятый полк! — и выпил всё до

дна.— А если вам придется тоже строиться в ряды, то смотрите, мальчики, держитесь крепко, как держались мы, старики!

Было уже поздно. Мы с песнями сбежали с холма и зашагали большими шагами, взявшись под руки. Мы подошли к По, когда уже стемнело и в воздухе летали тысячи светлячков.

Расстались мы только на площади Статуто, после того как условились встретиться опять в следующее воскресенье, чтобы вместе идти в театр Виктора-Эммануила, где будут раздавать награды ученикам вечерних школ.

Какой это был чудесный день! Каким счастливым вернулся бы я домой, если бы не встретил мою бедную учительницу. Я столкнулся с ней, когда она спускалась по нашей лестнице, почти в полной темноте. Она узнала меня, взяла обе мои руки и прошептала:

— Прощай, Энрико, не забывай меня!

Мне показалось, что она плакала.

Когда я вернулся домой, то сказал маме:

— Я встретил свою учительницу.

— Да, она отправилась, чтобы лечь в постель,— ответила мама, у которой были красные глаза. Потом, пристально глядя на меня, она грустно-грустно прибавила: — Твоя учительница..., очень больна.

РАЗДАЧА НАГРАД УЧЕНИКАМ ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ

Воскресенье, 25 июня

Как и было условлено, мы все вместе пошли в театр Виктора-Эммануила посмотреть на раздачу наград ученикам вечерних школ. Театр был украшен, как и четырнадцатого марта, и полон народа, но на этот раз почти исключительно семьями рабочих, а партер был занят воспитанниками капеллы. Они спели гимн в память погибших солдат, и спели так хорошо, что, когда окончили, все поднялись со своих мест, стали аплодировать и кричать так, что хору пришлось пропеть этот гимн еще раз.

Потом рабочие — ученики вечерних школ, заслужившие пре-

мим, длинной шеренгой стали проходить мимо городского головы, префекта и других важных синьоров, которые вручали им награды: книги, книжки сберегательных касс, дипломы и медали.

В одном углу партера я увидел Кирпичонка рядом с его матерью, в другом месте — директора, около которого торчала рыжая голова моего бывшего учителя второго класса.

Первыми прошли ученики вечерней школы рисования: ювелиры, резчики по камню, типографские рабочие, а также столяры и каменщики; потом потянулись ученики торговых школ, за ними — ученики музыкальной школы, среди которых были и мальчики и взрослые рабочие.

Все они были разодеты по-праздничному. Их встречали громом рукоплесканий, и они смеялись в ответ.

Наконец вышли ученики вечерних начальных школ, и тутто и началось самое интересное. Они были всех возрастов, всех специальностей и одеты самым различным образом. Тут были и седые мужчины, и мальчики ремесленники, и рабочие с большими черными бородами. Молодежь держалась свободно, взрослые немного смущались. Публика аплодировала самым старым и самым молодым.

Но никто из зрителей не смеялся, как это было на нашем празднике, все лица были внимательны и серьезны. У многих награжденных в партере сидели жёны и сыновья, и некоторые малыши, когда их отец выходил на сцену, звали его по имени и, громко смеясь, махали ему руками.

Потом вышли крестьяне и чернорабочие, они все были из школы Бонкомпани.

Из школы «Читаделла» пришел один чистильщик сапог, которого знает мой отец, и префект протянул ему диплом.

За ним шел человек очень высокого роста, настоящий великан, который показался мне знакомым,— это был отец Кирпичонка, получивший вторую награду. Я вспомнил, что видел его на чердаке, у постели больного сына, и сейчас же стал разыскивать в партере самого Кирпичонка. Он смотрел на своего отца горящими глазами и, чтобы скрыть свое волнение, строил «заячью мордочку».

В этот момент раздался взрыв аплодисментов, и я взглянул на сцену. Там стоял маленький трубочист, лицо его было чисто вымыто, но он был в своем рабочем платье, и городской голова говорил с ним, держа его за руку.

Вслед за трубочистом шел повар. Затем вышел получать награду уличный подметальщик, ученик школы Раниери.

Прошел мальчик подмастерье, и видно было, что отец уступил ему для этого случая свой пиджак, так как рукава были слишком длинны, и ему пришлось здесь же, на сцене, засучить их, чтобы взять награду; многие засмеялись, но смех сейчас же заглушили аплодисменты.

Дальше следовал старик с лысой головой и белой бородой. Прошли солдаты-артиллеристы, из числа тех, которые занимаются по вечерам в нашей школе, потом таможенники, потом полицейские, которые стоят около нашей школы.

Наконец воспитанники капеллы еще раз пропели гимн, но на этот раз с таким подъемом, с таким выражением, идущим, казалось, из самого сердца, что присутствующие почти не аплодировали и выходили из театра взволнованные, медленно, без шума.

В несколько минут вся улица оказалась заполненной людьми. Перед дверью театра стоял маленький трубочист, держа в руках полученную в награду книгу в красном переплете, а вокруг него — синьоры, которые с ним разговаривали. Рабочие, подростки, полицейские, учителя посыпали друг другу приветствия с одной стороны улицы на другую.

Учитель второго класса вышел в сопровождении двух солдат-артиллеристов.

Многие рабочие несли на руках детей, которые держали в ручонках отцовские дипломы и с гордостью показывали их окружающим.

СМЕРТЬ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Вторник, 27 июня

Пока мы были в театре Виктора-Эммануила, умерла моя учительница. Она умерла в два часа, через неделю после того, как заходила к моей матери.

Вчера директор пришел, чтобы объявить нам об этом.

— Те из вас,— сказал он,— которые учились в ее классе, знают ее доброту, знают, как она любила детей; она была для них настоящей матерью. Теперь ее больше нет с нами. Страшная болезнь унесла ее в короткое время. Если бы она не должна была работать, она могла бы лечиться и поправиться; она, может быть прожила бы еще несколько месяцев, если бы взяла отпуск и отдохнула. Но она хотела оставаться со своими мальчиками до последнего дня. В субботу вечером, семнадцатого числа, она рас прощалась с ними, зная, что не увидит их больше. Она многим успела еще дать добрые советы, всех перечес ловала и, плача, ушла. Никто ее больше не увидит. Не забывайте ее, дети.

Маленький Прекосси, который был ее учеником в первом классе, опустил голову на парту и заплакал.

Вчера вечером, после занятий, мы все пошли к дому умершей учительницы. На улице уже стоял катафалк, запряженный парой лошадей, и толпились много народа. Все говорили шепотом.

Здесь был директор, все учителя и учительницы нашей школы, а также учителя и учительницы других школ.

Пришли почти все малыши из ее класса, за руку со своими матерями, множество учеников из других классов и около пятидесяти учениц из школы Баретти, с венками и букетиками роз в руках. На катафалке тоже было много цветов, поверх которых лежал большой венок из душистой желтой акации, с надписью: «Дорогой учительнице от ее бывших учениц четвертого класса». А под большим венком лежал маленький, который принесли ее малыши.

Все молча толпились у дверей. Многие мальчики утирали слёзы. Наконец вынесли гроб. Когда его начали устанавливать на катафалк, малыши принялись громко плакать, а один даже закричал, как будто только сейчас понял, что его учительница умерла; он стал судорожно рыдать, и его унесли прочь.

Потом катафалк с гробом медленно двинулся в путь.

Ах, милая моя учительница! Как она всегда была ласкова со мной, как терпелива, и как много лет она проработала в школе. Немногие книги, которые у нее были, она оставила своим ученикам, одному она оставила чернильницу, другому картинку, всё, что она имела, а за два дня до смерти она просила директора не пускать на ее похороны самых маленьких, чтобы они не плакали.

Она сделала в жизни много добра, страдала и умерла.

Прощай навсегда, мой добрый друг, нежное и грустное воспоминание моего детства!

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Среда, 28 июня

Наша учительница хотела закончить учебный год, но умерла за три дня до окончания занятий.

Послезавтра мы в последний раз пойдем в школу, чтобы прослушать последний ежемесячный рассказ «Кораблекрушение», а там... конец.

В субботу, первого июля,— экзамены. Вот и прошел еще один школьный год, третий. Когда я вспоминаю, что я знал в октябре прошлого года, то мне кажется, что теперь я знаю намного больше: у меня столько новых мыслей в голове. Я гораздо лучше могу теперь высказать и написать то, что думаю; я гораздо лучше считаю, могу даже помогать некоторым взрослым, которые не знают арифметики, и всё понимаю гораздо лучше, чем прежде; я понимаю почти всё, что читаю. Так что в общем я доволен.

Но сколько человек поддерживали меня и помогали мне учиться дома, в школе, на улице. За все это я прежде всего благодарен моему милому учителю, который был всегда таким снисходительным и ласковым,— ведь все приобретенные мной за год новые знания, которые сегодня так меня радуют, были его работой. Благодарю также тебя, Деросси, мой чудесный товарищ; ты всегда готов был с улыбкой объяснить мне всё непонятное и сколько раз помогал мне перед экзаменами.

Я благодарен также настойчивому и сильному Старди, который показал мне, как железная воля преодолевает все препятствия, и доброму, великодушному Гарроне; он такой хороший, что каждый, кто только узнаёт его, становится тоже добрым и великодушным. Я благодарен также Прекосси и Коретти, которые всегда подавали мне пример мужества в нужде и тяжелых обстоятельствах жизни и пример терпения в работе.

Но особенно должен я благодарить тебя, отец! Ты мой первый учитель, первый друг, ты мне дал столько хороших советов и научил стольким вещам, в то время как сам работал для меня, скрывая все свои огорчения и стараясь во что бы то ни стало сделать для меня учение легким, а жизнь — счастливой.

А ты, моя милая мама, ты радовалась всем моим радостям и огорчалась всем моим огорчениям, ты училась, уставала, плакала вместе со мной.

Я хотел бы обнять ваши колени, как обнимал их, когда был совсем маленьким, и благодарить вас, благодарить со всей нежностью, которую вы вложили в мое сердце за двенадцать лет самоотверженной любви.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

(последний ежемесячный рассказ)

Несколько лет тому назад в одно декабрьское утро из Ливерпульского порта¹ вышел большой пароход, на борту которого было свыше двухсот человек, в том числе семьдесят человек экипажа. Капитан и почти все моряки были англичане, а среди пассажиров находилось несколько итальянцев: три синьоры, священник, компания музыкантов.

Пароход должен был идти к острову Мальта². Погода стояла пасмурная. Среди пассажиров третьего класса, расположившихся на носу, был итальянский мальчик лет двенадцати, невысокий для своих лет, но крепкий, со смелым и строгим лицом сицилийца. Он держался в стороне от других и сидел на свер-

¹ Ливерпуль — крупнейший английский порт на Ирландском море.

² Мальта — остров на Средиземном море.

нутом канате около фок-мачты; рядом с ним стоял старенький сундучок с его вещами, на который он опирался одной рукой. У мальчика было смуглое лицо и черные волнистые волосы, которые спускались ему почти на плечи. Бедно одетый, он кутался в разорванную накидку, а через плечо у него висела старая кожаная сумка. Мальчик задумчиво смотрел на пассажиров; на пароход, на пробегавших мимо матросов и на беспокойное море. Казалось, что он только что пережил большое личное горе, и на его детском лице было недетское выражение. Вскоре после выхода в море один из матросов, итальянец с седыми волосами, появился на носу, ведя за руку девочку. Он остановился перед маленьким сицилийцем, сказал: «Вот тебе спутница, Марио», — и ушел.

Девочка села на связку канатов рядом с мальчиком. Они посмотрели друг на друга.

— Куда ты едешь? — спросил маленький сицилиец.

— На остров Мальта, через Неаполь, — ответила девочка, а потом прибавила: — Я еду к отцу и матери, которые меня ждут. Меня зовут Джульетта Фаджани.

Мальчик ничего не ответил. Через несколько минут он достал из своей сумки хлеб и сухие фрукты. У девочки были с собой сухари. Дети поели.

— Веселей! — крикнул матрос итальянец, пробегая мимо, — сейчас начнется балет.

Ветер все усиливался, и пароход начало сильно качать. Но дети, которые не страдали морской болезнью, не обращали на это внимания.

Девочка улыбалась. Она была примерно тех же лет, что и мальчик, но заметно выше ростом. Худенькая, немного бледненькая на вид, смуглая и одетая более чем скромно. Ее вьющиеся волосы были коротко подстрижены, вокруг головы у нее был повязан красный платок, а в ушах блестели серьги в виде серебряных колечек.

За едой дети разговорились. У мальчика не было ни отца, ни матери. Его отец, рабочий, недавно умер в Ливерпуле, оставил сына совсем одного, и итальянский консул отправлял его теперь обратно на родину, в Палермо, где жили его дальние

родственники. Девочку привезли в Лондон в прошлом году к тетке-вдове. Тетка очень ее любила, и родители — бедные люди — отправили к ней на время свою дочку, надеясь на обещанное наследство. Но через несколько месяцев тетка попала под омнибус и умерла, не оставив ни центезимо. Тогда девочка также обратилась к консулу, который посадил ее на пароход, идущий в Италию. Их обоих поручили итальянскому матросу.

— Ну вот,— закончила свой рассказ девочка,— отец и мать думают, что я возвращаюсь богатая, а я, наоборот, возвращаюсь бедная. Но они всё равно меня очень любят. И мои братья тоже. У меня их четыре, и все еще маленькие, я самая старшая. Я всегда помогала им одеваться. Они будут очень рады мне... я войду к ним на цыпочках... А как неспокойно море...

Потом она спросила у мальчика:

- Ты будешь жить у своих родственников?
- Да... если они согласятся.
- Разве они не любят тебя?
- Не знаю.
- К новому году мне исполнится тринадцать лет,— сказала девочка.

Потом они стали говорить о море и о пассажирах, которые их окружали. Целый день они просидели рядом, время от времени перебрасываясь несколькими словами. Пассажиры принимали их за брата и сестру. Девочка вязала чулок, мальчик размышлял, море становилось всё более и более бурным.

Вечером, расставаясь, чтобы идти спать, девочка сказала Марии:

— Спокойной ночи.

— Никто не сможет спать в эту ночь спокойно, бедные мои детки! — воскликнул пробегавший мимо матрос итальянец.

Мальчик встал, чтобы тоже пожелать своей подруге доброй ночи, как вдруг неожиданно обрушившаяся на палубу водяная гора сильно ударила его и бросила на одну из скамеек.

— Боже мой,— закричала девочка,— ты разбился в кровь!

И она кинулась к нему. Остальные пассажиры бросились вниз, не обращая на детей никакого внимания. Девочка опусти-

лась на колени около Марио, который лежал, оглушенный ударом, вытерла ему кровь со лба, сняла с себя красный платок и обвязала им голову раненого, крепко прижав ее к своей груди, чтобы потуже затянуть концы. На ее желтом платье, немного выше талии, отпечаталось при этом кровавое пятно.

Марио пришел в себя и встал.

— Тебе лучше? — спросила девочка.

— Да, всё прошло, — ответил он.

— Покойной ночи, — сказала тогда Джульетта.

— Покойной ночи, — отвечал Марио, и дети спустились по двум смежным лесенкам в каюты.

Предсказание матроса оказалось правильным, — не успели они заснуть, как разразилась страшная буря. Неожиданно хлынувшие на палубу волны в несколько мгновений разбили в щепки мачту и смыли, словно сухие листья, три шлюпки, подвешенные к борту, и четырех быков с носовой части судна.

Во внутренних помещениях началась паника, людей охватил ужас, поднялся шум, послышались крики, плач, молитвы. Море свирепело всё больше и больше. С рассветом буря усилилась. Огромные волны, набрасываясь на пароход с фланга, низвергались на палубу и разбивали, сносили, увлекали в море всё, что им попадалось.

Настил, который закрывал машинное отделение, прорвался, и вода со страшным грохотом устремилась внутрь судна. Топки погасли, кочегары разбежались.

Послышался громовой голос:

— К насосам!

Это был голос капитана. Матросы бросились к насосам. Но огромная волна, неожиданно обрушившаяся сзади, разбила парapеты и люки, и вода хлынула внутрь.

Пассажиры столпились в главной каюте; вдруг среди них появился капитан.

— Капитан, капитан, — закричали все, — что происходит? Каково положение? Есть ли надежда? Спасите нас!

Капитан подождал, пока не наступило молчание и тогда сказал:

— Покоримся судьбе.

Одна из женщин крикнула:

— Боже!

Больше никто не произнес ни слова, все оцепенели от страха.

Так, в гробовом молчании, прошло довольно много времени.

Люди смотрели друг на друга с совершенно белыми лицами.

Рассвирепевшее море было ужасно. Судно тяжело переваливалось с борта на борт. Наступила минута, когда капитан попытался спустить на море спасательную шлюпку: шлюпка с пятью матросами скользнула вниз, но волны перевернули ее, и два матроса, в том числе итальянец, присматривавший за детьми, исчезли в воде; остальным с трудом удалось ухватиться за веревки и снова подняться на борт.

После этого сам экипаж потерял всякое мужество. Два часа спустя пароход уже наполовину погрузился в воду. Палуба представляла собой страшное зрелище. Матери в исступлении прижимали к груди своих детей, друзья обнимались и прощались друг с другом; некоторые спускались вниз, в каюты, чтобы умереть, не видя моря.

Двое детей, Марио и Джульетта, прислонившись к мачте, смотрели на море неподвижными глазами, как безумные. Волнение немного улеглось, но судно продолжало медленно погружаться. Оставалось, очевидно, всего несколько минут.

— Шлюпку на море! — крикнул капитан.

На воду спустили последнюю шлюпку, в которой поместились четырнадцать матросов и три пассажира.

Капитан оставался на борту.

— Спускайтесь к нам! — кричали ему снизу.

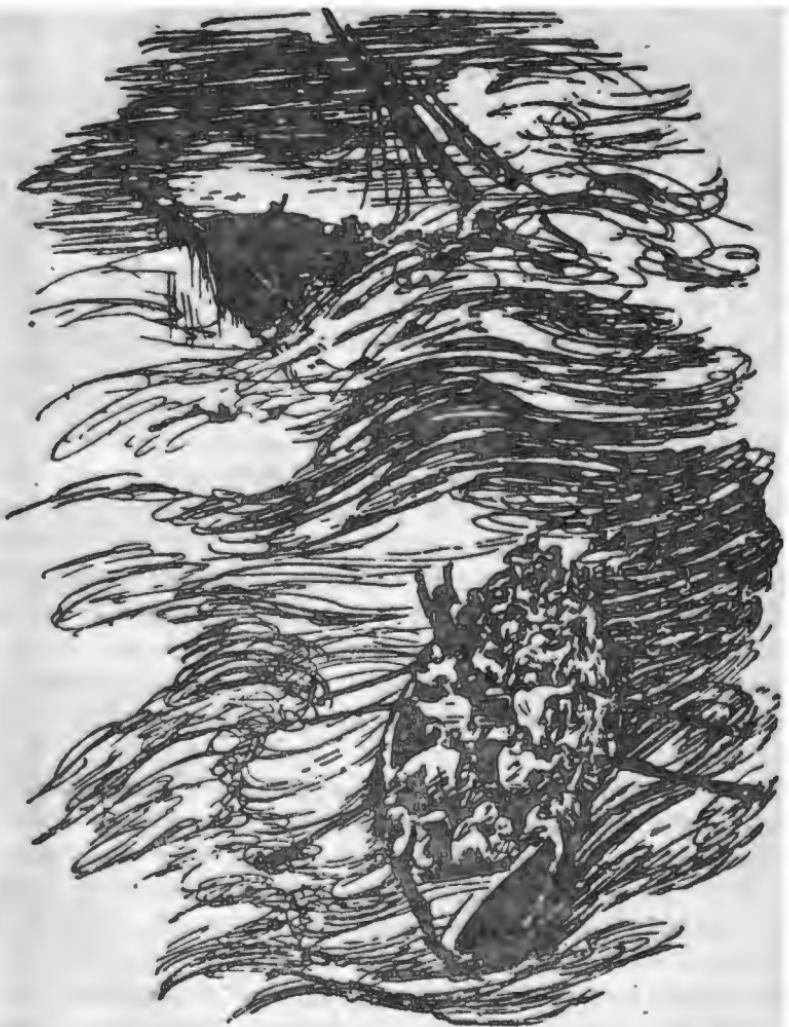
— Мой долг — умереть на посту, — ответил он.

— Мы встретим какое-нибудь судно и спасемся, — кричали ему, — а вы погибнете!

— Я остаюсь.

— Есть еще одно место! — закричали тогда матросы, обращаясь к другим пассажирам, — давайте сюда женщину!

Вперед вышла женщина, сестра капитана, но, увидев расстояние, на которое уже отошла шлюпка, она побоялась прыгнуть в воду и упала без чувств на палубу. Остальные женщины лежали без сознания.



— Ребенка! — крикнули матросы.

При этом возгласе маленький сицилиец и его подруга, которые до того стояли как бы окаменевшие от сверхчеловеческого страха, вдруг, словно пробужденные могучим инстинктом жизни, оторвались в одно мгновение от мачты и бросились к краю судна, крича в один голос: «Меня!» — и пытаясь оттолкнуть один другого назад, как два диких звереныша.

— Самого маленького! — кричали матросы.— Шлюпка и так перегружена! Самого маленького!

Услышав эти слова, девочка, как пораженная громом, опустила руки и осталась неподвижной, смотря на Марио потухшими глазами. Тот взглянул на нее, увидел кровавое пятно на ее кофточке, вспомнил всё, и лицо его озарилось дивным светом.

— Самого маленького! — кричали в один голос матросы, охваченные крайним нетерпением.— Мы удаляемся!

Тогда Марио крикнул каким-то не своим голосом:

— Она легче. Тебя, Джульетта! У тебя есть отец и мать! Я один! Я уступаю тебе свое место! Прыйгай!

— Бросай ее в море! — орали матросы.

Марио схватил Джульетту за талию и бросил в волны.

Девочка испустила крик и с плеском погрузилась в воду; один из матросов схватил ее и втащил в шлюпку. Мальчик остался стоять на краю палубы, высоко подняв голову. Волосы его развевались по ветру, но он стоял неподвижно, полный спокойного величия.

Шлюпка отошла и едва успела избежать водоворота, который образовался при погружении судна в воду и грозил перевернуть ее. Тогда девочка, которая до того была как бы вне себя, взглянула в сторону мальчика и разразилась плачем.

— Прощай, Марио,— рыдала она, протягивая к нему руки.— Прощай! Прощай! Прощай!

— Прощай! — ответил мальчик, высоко подняв руку.

Шлюпка быстро удалялась по бурным волнам, под мрачным небом. Никто больше не кричал на пароходе. Волны лизали уже края палубы.

Девочка закрыла глаза. Когда она подняла голову и снова посмотрела на море, на нем ничего уже больше не было видно.

Июль

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МОЕЙ МАТЕРИ

Суббота, 1 июля

Ну вот, Энрико, учебный год и окончился. Хорошо, что вместе с воспоминанием о последнем дне занятий у тебя останется воспоминание о мальчике-герое, который отдал жизнь за спасение своей подруги. Теперь ты расстанешься со своими учителями и товарищами, и я должна сообщить тебе грустную новость. Ты расстаешься с ними не на три месяца, а навсегда. Твой отец, как того требует его работа, должен будет уехать из Турина, и мы все вместе с ним. Это произойдет осенью, и тебе придется поступить в другую школу. Это очень огорчает тебя, правда? Я знаю, как ты любишь свою старую школу. Ведь в течение трёх лет ты ходил в нее два раза каждый день и научился ощущать в ней радость от совершаемой работы. Там ты видел в одни и те же часы тех же мальчиков, тех же учителей, тех же родителей и своих собственных отца и мать, которые с улыбкой ожидали тебя у входа. В этой школе проявились твои первые способности, в ней ты нашел столько хороших товарищней; каждое услышанное тобой в ее стенах слово было сказано для твоего блага и каждая пережитая тобой неприятность была тебе на пользу.

Сохрани же в сердце любовь к своей старой школе и сердечно попрощайся со всеми мальчиками. Некоторые из них узнают горе — рано потеряют отца и мать, другие умрут молодыми, третьи с честью прольют свою кровь на поле боя; многие ста-

нут хорошими и честными рабочими, отцами сыновей, таких же трудолюбивых и честных, как они сами. И кто знает, может быть среди них есть и такие, которые окажут большие услуги своей родине и прославят свое имя. Попрощайся же с ними ласково; оставь кусочек своего сердца в этой большой семье, в которую ты вошел ребенком и из которой выходишь подростком. Тебя в ней полюбили, и за это твой отец и твоя мать полюбили эту семью.

Школа — это тоже мать, Энрико. Она взяла тебя из моих рук, когда ты едва говорил, а теперь она возвращает мне тебя большим, сильным, хорошим, трудолюбивым. Никогда, сын мой, не забывай эту школу. Но нет, ты не забудешь ее, разве можно ее забыть?

Ты станешь взрослым мужчиной, объездив кругом весь свет, увидишь огромные города и чудесные сооружения, и ты многие из них запомнишь. Но это скромное белое здание с закрытыми ставнями, этот маленький сад, где ты сорвал первые цветы своего сознания, ты будешь видеть их перед глазами до конца дней своих, так же как я никогда не забуду дом, в котором я впервые услышала твой слабый голос.

Твоя мать.

ЭКЗАМЕНЫ

Вторник, 4 июля

Вот, и экзамены. На окружающих школу улицах только и говорят, что об экзаменах. Мальчики, отцы, матери, даже гувернантки, все повторяют одни и те же слова: экзамены, отметки, темы, провалился, выдержан.

Вчера утром мы писали сочинение. Сегодня была письменная арифметика. Трогательно было смотреть, как родители вели в этот день своих мальчиков в школу, как идя по улице, они давали им последние наставления. Многие матери поднялись вместе со своими детьми в класс, чтобы посмотреть, есть ли чернила в чернильнице на их парте, проверить, хорошо ли пишет перо, и еще раз обернуться, чтобы сказать: «Желаю удачи! Будь внимателен! Я надеюсь на тебя!»

Ассистентом у нас был учитель Коатти, тот самый, чернобородатый, который рычит, как лев, но никого не наказывает. Мальчики были совсем белые от страха. Когда учитель распечатал письмо городского совета и вынул из него листок с задачей, весь класс замер.

Учитель громко продиктовал задачу, глядя то на одного, то на другого устрашающими глазами, но мы знали, что он был бы ужасно рад, если бы мог продиктовать нам также и решение, чтобы все мы перешли в следующий класс.

После часа работы некоторые ученики начали волноваться, так как задача была трудная. Один мальчик заплакал. Кросси бил себя кулаком по голове. Многих нельзя было винить за то, что они не могли решить задачу,— у одних не было времени подготовиться, за другими не следили родители. Но такова уж была их судьба.

Надо было видеть, как хлопотал Деросси, чтобы помочь им, как он умудрялся незаметно пересыпать им нужные числа или подсказывал ход действия, заботясь обо всех, как будто бы он был нашим учителем. Гарроне, который тоже силен в арифметике, также помогал, кому только мог, и в конце концов даже самому Нобису, который, попав в затруднительное положение, стал чрезвычайно любезен.

Старая целый час сидел неподвижно, уставившись в задачу и подперев голову кулаками, а потом решил всё в пять минут. Учитель прохаживался между партами, приговаривая:

— Спокойно, спокойно! Не волнуйтесь.

А когда он видел, что кто-нибудь совсем приуныл, то, чтобы рассмешить его и придать ему бодрости, он широко открывал рот, делая вид, что он лев и сейчас сожрет ученика.

Часов около одиннадцати, взглянув сквозь ставни, я увидел многих родителей, с нетерпением ожидавших на улице. Здесь был отец Прекосси в своей синей рабочей блузке и еще совсем черным лицом, вырвавшийся на минуту из кузницы; здесь была мать Кросси — зеленщица, мать Нелли, как всегда одетая в черное, от нетерпения не могла устоять на одном месте. Около полудня явился мой отец и поднял глаза к окну нашего класса. Как он меня любит! К двенадцати часам все кончили,

и надо было видеть, что делалось на улице, когда мы вышли. Все бросились навстречу мальчикам с расспросами, стали листать тетради, сравнивать работы сына с работами товарищей.

— Сколько должно было быть действий?

— А какой итог?

— Как ты сделал вычитание?

— Какой получился ответ?

— А где ты поставил запятую?

Все учителя тоже были здесь, и их звали к себе сто различных голосов. Мой отец сейчас же взял у меня из рук черновик, посмотрел и сказал:

— Всё благополучно.

Рядом с нами стоял кузнец Прекосси, который с беспокойством рассматривал работу своего сына, но не мог в ней разобраться. Тогда он обернулся к моему отцу:

— Не будете ли вы так добры и не скажете ли мне ответ?

Мой отец назвал число. Тот посмотрел, сравнил и радостно закричал:

— Молодец парнишка!

Мой отец и кузнец посмотрели друг на друга с улыбкой, как добрые друзья; отец протянул кузнецу руку, и тот пожал ее. Тут мы расстались со словами:

— До устного экзамена!

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН

Пятница, 7 июля

Сегодня утром у нас были устные экзамены. В восемь часов мы уже сидели в классе, а в четверть девятого нас начали вызывать, одновременно по четыре ученика, в большую залу, где стоял стол, покрытый зеленою скатертью, вокруг которого сидели директор и четыре учителя, в том числе и наш. Меня вызвали одним из первых. Сегодня утром я хорошо понял, как наш учитель нас любит. В то время, как остальные учителя спрашивали, он не отводил от нас взгляда, волновался, когда мы не сразу отвечали, радовался хорошим ответам, ко всему

прислушивался и делал нам тысячи знаков руками и головой, как бы говоря: «Хорошо... нет... Будь внимательней... медленней... Молодец!»

Он подсказывал бы нам всё, если бы мог. Будь на его месте по очереди отцы всех экзаменующихся мальчиков, они не могли бы сделать для нас больше.

«Спасибо!» — десять раз хотелось мне крикнуть ему, здесь же, на глазах у всех. И когда другие учителя сказали мне: «Хорошо, достаточно», — у него засверкали глаза от удовольствия.

Я сразу вернулся в класс и стал ждать своего отца. Почти все мальчики были еще в классе. Я сел рядом с Гарроне. Мне было грустно. Я думал, что вот мы в последний раз сидим с ним рядом. Я еще не говорил Гарроне, что не буду вместе с ним в четвертом классе, что мы всей семьей уедем из Турини. Гарроне сидел рядом со мной, как будто сложившись пополам, положив голову на парту, и рисовал какие-то завитки вокруг фотографии своего отца в одежде машиниста. Его отец — высокий и толстый мужчина с бычьей шеей, и у него такой же серьезный и честный вид, как и у нашего Гарроне. И в то время, как он сидел согнувшись, с открытым воротом рубашки, я увидел на его крепкой открытой шее золотой крестик, который ему подарила мать Нелли, когда узнала, что он защищает ее сына.

Но надо же было, в конце концов, объявить ему, что я уеду. Я сделал это так.

— Гарроне,— сказал я,— этой осенью мой отец навсегда уедет из Турини.

Он спросил меня, уеду ли я тоже, и я ответил, что да.

— Так что ты не будешь в четвертом классе вместе с нами? — спросил он.

Я ответил, что нет.

Он просидел некоторое время молча, продолжая рисовать. Потом спросил, не поднимая головы:

— А ты будешь помнить своих товарищей третьего класса?

— Да,— ответил я,— всех... но тебя... больше всех других. Разве можно забыть тебя?

Он посмотрел на меня пристально и серьезно, и глаза его говорили многое, но сам он молчал. Он только протянул мне левую руку, продолжая рисовать правой, и я сжал обеими своими его честную и сильную руку.

В эту минуту в класс быстро вошел наш учитель с покрасневшим лицом и тихо, но весело сказал:

— Молодцы, до сих пор все идет хорошо, выберутся благополучно и все остальные; молодцы, мальчики! Держитесь! Я очень доволен.

И, чтобы показать нам, как он доволен, и рассмешить нас, он, поспешно выходя из класса, сделал вид, что споткнулся, и ухватился за стену, чтобы не упасть. Это он-то, который никогда не смеется. Его выходка показалась нам такой странной, что, вместо того чтобы расхохотаться, мы застыли от изумления; все улыбнулись, но никто так и не засмеялся. Не знаю почему, но от этой ребячливой выходки учителя мне стало больно и вместе с тем я почувствовал к нему особую нежность.

Эта минута радости — награда за девять месяцев работы, терпения... и неприятностей. Вот для чего наш учитель так много работал, столько раз приходил на уроки больной... Так вот что ему нужно от нас взамен всей его любви и забот!

Теперь мне кажется, что я всегда буду вспоминать его именно таким, каким мы только что его видели, хотя бы прошли многие и многие годы.

Если, когда я вырасту, он будет еще жив и мы встретимся, я напомню ему эту его выходку, которая так меня тронула, и поцелую его в белую голову.

ПРОЩАНИЕ

Понедельник, 10 июля

Сегодня утром мы все в последний раз пришли в школу, чтобы узнать результаты экзаменов и получить справки о переходе в следующий класс.

Улица была полна родителей. Многие из них вошли в большую залу первого этажа, а некоторые проникли даже в классы

и претиснулись к самому столику учителя. В нашем классе они заняли всё пространство между стеной и первыми партами.

Здесь были отец Гарроне, мать Деросси, кузнец Прекосси, отец Коретти, мать Нелли, зеленщица, отец Кирпичонка, отец Старди и многие другие, которых мы раньше не видели. Они переговаривались и вертелись во все стороны, так что можно было подумать, что находишься на городской площади.

Наконец вошел учитель и воцарилось глубокое молчание. В руках у него был список, и он сразу же начал читать:

— Абатуччи; переводится: шестьдесят семидесятых¹.

— Аркини; переводится: пятьдесят пять семидесятых.

Кирпичонка тоже перевели, и Кроффи тоже.

Потом учитель громко произнес:

— Деросси Эрнесто; переводится: семьдесят семидесятых и первая награда.

Находившиеся в классе родители, которые все его знали, закричали:

— Браво, браво, Деросси!

А он встряхнул белокурыми локонами, улыбнулся непринужденной и прекрасной улыбкой и посмотрел на свою мать, которая помахала ему рукой.

Гарроне, Гароффи, калабриец — все перешли в следующий класс.

Потом шли трое или четверо оставшихся на второй год, и один из них заплакал, потому что его отец, который стоял у входа, погрозил ему. Тогда учитель обернулся к нему и сказал:

— Нет, синьор, простите меня, ученик не всегда бывает виноват, часто ему что-нибудь мешает учиться, как и в данном случае. — Потом он продолжал читать:

— Нелли; переводится: шестьдесят две семидесятых.

При этом мать бедного мальчика махнула ему веером. Старди перешел с отметкой шестьдесят семь семидесятых, но, услы-

¹ По десятибалльной системе оценок общий итог на переводных экзаменах выводится из количества изучаемых предметов и полученных учениками баллов. Так, например, семьдесят семидесятых означает, что школьник по всем семи предметам получил высшую оценку (10 баллов).

шав такой прекрасный балл, он даже не улыбнулся и продолжал сидеть, подперев голову кулаками.

Последним по списку был Вотини, который явился нарядно разодетым и тщательно причесанным.

— Переводится.

Закончив чтение, учитель поднялся и сказал:

— Мальчики, сегодня мы в последний раз находимся здесь все вместе. Мы прожили с вами целый год, и мне кажется, что расстаемся хорошими друзьями? Мне грустно покидать вас, мои милые дети... — Он остановился, потом продолжал: — Если иногда я и терял терпение, если несколько раз я, сам того не желая, был к кому-нибудь несправедлив или слишком строг, — простите меня.

— Нет, нет, — закричали родители и многие из учеников, — нет, вам не в чем извиняться, синьор учитель!

— Простите меня, если так, — повторил он, — и вспоминайте обо мне с любовью. В будущем году вы окажетесь уже не в моем классе, но мы будем видеться, и вы все останетесь моими друзьями. До свиданья, мальчики!

После этих слов он подошел к нам, и мы бросились обнимать его и пожимать ему руку.

Пятьдесят голосов хором закричали:

— До свиданья, синьор учитель!

— Спасибо, синьор учитель!

— Будьте здоровы!

— Не забывайте нас!

Когда он вышел, то казался очень взволнованным.

Тут мы все в беспорядке побежали из класса. Из других классов тоже выходили мальчики, и всё смешалось; громко звучали голоса учеников и родителей, которые прощались с учителями и учительницами и раскланивались друг с другом.

Четыре или пять малышей обнимали учительницу с красным пером, и не меньше двадцати толпились вокруг нее, так что она совсем задыхалась.

С учительницы, которая похожа на монахиню, малыши чуть не сорвали шляпу, а в петлицы платья и в карманы засунули ей не меньше дюжины букетиков. Многие поздравляли Робетти,

который как раз в этот день пришел первый раз без костылей.

Со всех сторон слышалось:

- До следующего года!
- До двадцатого октября!
- До свиданья!

Мы также попрощались со всеми. В эту минуту забыты были все минувшие неприятности. Вотини, который всегда так завидовал Деросси, первый бросился к нему, и они обнялись. Я попрощался с Кирпичонком и поцеловал его, а он в последний раз сстроил мне «заячью мордочку». Я рас прощался также с Прекосси и с Гароффи, который объявил мне, что я выиграл на его последней лотерее, и передал мне маленькое майоликовое¹ пресс-папье, отбитое с одного края. Я попрощался и со всеми остальными.

Приятно было видеть, как Нелли уцепился за Гарроне, так что прямо нельзя было оторвать его. Все столпились вокруг Гарроне:

«Прощай, Гарроне, прощай, до свиданья», — и теребили его, обнимали, говорили ему ласковые слова. А его отец смотрел на него и улыбался.

Гарроне был последним, с кем я попрощался. Я обнял его уже на улице, спрятал лицо у него на груди и заплакал, а он поцеловал меня в голову.

Потом я побежал к моему отцу и маме.

— Со всеми ли своими товарищами ты попрощался? — спросил меня отец.

Я отвечал, что со всеми.

— Если ты обидел кого-нибудь из них, пойди и попроси, чтобы он простил тебя и забыл про этот случай. Таких нет?

— Нет, — отвечал я.

— Ну, тогда прощай, школа! — сказал мой отец взволнованным голосом, в последний раз взглянув на ее белые стены.

— Прощай, школа! — повторила мама, я же ничего не мог сказать и молча плакал.

¹ Майолика — художественные изделия из природных глин, покрытые глазурью.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Октябрь

Первый день в школе	5
Наш учитель	8
Несчастный случай	9
Мальчик из Калабрии	11
Мои товарищи	12
Благородный поступок	14
Моя первая учительница	16
На чердаке	18
Школа (<i>письмо отца</i>)	19
Маленький патриот из Падуи (<i>ежемесячный рассказ</i>)	20

Ноябрь

Маленький трубочист	25
Памятный день (<i>письмо матери</i>)	27
Мой друг Гарроне	28
Угольщик и синьор	30
Учительница моего брата	31
Моя мать (<i>письмо отца</i>)	33
Мой товарищ Коретти	35
Наш директор	38
Солдаты	40
Зашитник маленького Нелли	42
Первый ученик	45
Маленький ломбардский разведчик (<i>ежемесячный рассказ</i>)	47

Декабрь

Маленький делец	52
Тщеславие	54
Первый снег	56
Кирпичонок	57
Снежок	59
Наши учительницы	61
В гостях у больного	63
Маленький флорентийский писец (<i>ежемесячный рассказ</i>)	64
Сильная воля	74
Уважай своего учителя (<i>письмо отца</i>)	75

Январь

Новый учитель	77
Библиотечка Старди	79

Сын кузнеца	80
Веселые гости	82
Франти выгоняют из школы	84
Маленький барабанщик с острова Сардиния (ежемесячный рассказ)	86
Любовь к родине (письмо отца)	94
Зависть	96
Мать Франти	97

Февраль

Прекосси получает награду	99
Добрые намерения	102
Игрушечный поезд	103
Гордость	105
Радиенный рабочий	107
Узник	109
У постели больного отца (ежемесячный рассказ)	112
В кузнице	120
Маленький клоун	122
Слепые дети	127
У больного учителя	133
Улица (письмо отца)	135

Март

Вечерняя школа	137
Драка	139
Родители моих товарищ	141
Номер 78	142
Смерть маленького товарища	144
Накануне 14 марта	146
Раздача наград	147
Ссора	152
Горячая кровь (ежемесячный рассказ)	154
Болезнь Кирпичонка	160

Апрель

Весна	163
Детский приют	164
На уроке гимнастики	169
Учитель моего отца	172
Выздоровление	183
Наши друзья рабочие (письмо отца)	184
Мать Гарроне	186

200

Джузеppе Мадзини	187
Медаль за спасение утопающих (ежемесячный рассказ)	189

Май

Веер и краски	194
От Апеннина до Анд (ежемесячный рассказ)	197
Лето	228
Школа (письмо отца)	230
Глухонемая	232

Июнь

Гарибальди (письмо отца)	240
32 градуса	241
Мой отец (письмо матери)	243
Прогулка	245
Раздача наград ученикам вечерних школ	249
Смерть учительницы	251
Моя благодарность	253
Кораблекрушение (последний ежемесячный рассказ)	254

Июль

Последнее письмо моей матери	261
Экзамены	262
Последний экзамен	264
Прощанье	266

Эдмондо де Амичис СЕРДЦЕ (Записки школьника)

Перевод с итальянского В. Давиденковой

Иллюстрации В. Фирсовой

Оформление художника А. Власова

Сдано в набор 01.12.92 г. Подписано в печать 10.01.93 г. Формат 60×84¹/₈. Усл. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л. 13,06. Тираж 145 000 экз. Заказ № 1739.

Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова, 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

O